

Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие

Автор:

Игорь Оболенский

Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие

Игорь Викторович Оболенский

На этих страницах предстанут Борис Пастернак и Михаил Булгаков, Константин Станиславский и Марина Цветаева, знаменитый профессор Московской консерватории Генрих Нейгауз и сталинский нарком Ежов, Юрий Нагибин и Белла Ахмадулина, художники Валентин Серов и Роберт Фальк, академик Андрей Сахаров и министр культуры Екатерина Фурцева и многие другие – великие и не очень – персонажи.

Как признавалась Вера Прохорова: «Сколько неправды можно услышать о Рихтере, Нагибине или всевозможных рассуждений о Пастернаке, которые себе позволяют люди, не прочитавшие ни одного его стихотворения. Ложь о великих стала привычным делом. И мне, имевшей счастье лично знать этих выдающихся людей, отрадно осознавать, что я смогла рассказать о них ту правду, которую знала».

В издание вошли ранее не публиковавшиеся материалы, а также открытки и письма Святослава Рихтера.

Игорь Викторович Оболенский

Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие / Игорь Викторович Оболенский

Фото на обложку – МИА «Россия сегодня» Фото на вклейке – из архива автора и Веры Прохоровой

Вместо предисловия

Летом 2014 года, оказавшись на Новодевичьем кладбище возле могилы Святослава Рихтера, я случайно стал свидетелем следующей сцены. Женщина лет пятидесяти, разглядывая надгробный камень музыканта, обращалась к экскурсоводу: «Скажите, а почему немецкий пианист похоронен в России? Он же родом из Германии?».

Заметив растерянность на лице молодого гида, я решил вступить в диалог: «Когда Рихтер приехал с концертами в Германию, то со всех сторон слышал вопросы о том, каково это – оказаться на родине и видеть великую реку Рейн. На что он отвечал: «Я родился в Житомире, и Рейна там нет!».

Даме, кажется, мой ответ не пришелся по душе: «Откуда вы знаете?»

Я мог бы рассказать, что историю Святослава Рихтера мне поведала Вера Прохорова, самый близкий ему человек, чьи воспоминания мне посчастливилось записать.

Книга «Вера Прохорова. Четыре друга на фоне столетия. Рихтер, Пастернак, Булгаков, Нагибин и их жены» увидела свет в 2012 году. В то издание вошли не все материалы, что-то осталось за скобками. Не потому что тайна, просто не успели.

Книга вышла, а беседы с Верой Ивановной продолжались, и я становился обладателем новых историй о великих предках Прохоровой и эпизодов из жизни Рихтера.

* * *

Всего этого, конечно, поведать на Новодевичьем было невозможно. И тогда я понял, что пришло время для новой книги...

* * *

Последний раз я разговаривал с Верой Ивановной накануне Нового, 2013, года. Випе, как называли мою героиню близкие, объединив первые буквы имени, отчества и фамилии, оставалось жить всего три недели.

Когда пришло известие, что Веры Прохоровой не стало, я вспомнил нашу долгую беседу в день ее рождения, оказавшийся последним.

26 июня 2012 года моей героине исполнилось 94 года.

Я позвонил, чтобы поздравить Веру Ивановну – с днем рождения и с тем, что наша книга «Четыре друга на фоне столетия» вот уже второй месяц входит в десятку бестселлеров Москвы.

Но получилось, что поздравления выслушивал я.

«Сколько неправды можно услышать о Рихтере, Нагибине или всевозможных рассуждений о Пастернаке, которые себе позволяют люди, не прочитавшие ни одного его стихотворения. Ложь о великих стала привычным делом. И мне, имевшей счастье лично знать этих выдающихся людей, отрадно осознавать, что я смогла рассказать о них ту правду, которую знала.

Я – человек слабый. И не могла должным образом отреагировать на ту грязь, которая льется на Рихтера. А потому в своей слабости обращалась к Богу. И он послал мне вас», – сказала Вера Ивановна.

Она призналась, что не ожидала такого феноменального успеха, который имеет книга «Четыре друга на фоне столетия». Даже кое-кто из близких, кто поначалу отнесся с некоей ревностью к тому, что мемуары Прохоровой записал кто-то другой, потом, как рассказала Вера Ивановна, приходил к ней и просил подписать книги для своих друзей и коллег.

Мы проговорили, кажется, больше часа.

Было уже заметно, что Вера Ивановна устала. Да и надо было уступить место другим – дозвониться до Прохоровой в день ее рождения пытаются, кажется, десятки людей.

В конце разговора я еще раз поздравил Випу с днем рождения. И вновь услышал в ответ: «Это вам спасибо. Потому что если бы не ваша книга, то и поздравлять меня было бы не с чем»...

Странно, между нами было почти шестьдесят лет разницы, но я никогда не воспринимал Веру Ивановну старушкой. И бабушку она мне никогда не напоминала. Для меня Випа была, скорее, старшим товарищем. У бабушки ведь не спросишь, как поступить в момент каких-то личных проблем. А у подруги можно. Я спрашивал, и Вера Ивановна давала советы, поддерживающие меня и сегодня.

Как-то она подписала мне свое фото словами, которые я запомнил: «When winter comes, can spring be far behind» (в переводе: «Когда придет зима, весна будет далеко позади»).

Иногда наш разговор прерывал звонок телефона. И Вера Ивановна, извинившись, подолгу говорила со своими бывшими учениками, звонившими ей со всего мира.

«Слава, как тебе Израиль? Был в Иерусалиме? Нет, я не поеду. Не хочу видеть, как на Крестном Пути продают сувениры. Как представлю, что увижу там палаточки... Нет, спасибо! Для меня он останется в рисунках Гюстава Доре, на фотографиях путешественников прошлого. Это Святой город».

Как-то Вере Ивановне позвонила бывшая ученица, принявшая монашеский постриг. Випа обрадованно начала разговор, но, услышав известие, едва не вскрикнула: «Как умерла? А что, сердце? Это же святой человек!..»

Положив трубку, пояснила, что только что не стало Веры Миллионщиковой.

«Она – удивительная женщина. Верно говорят, не стоит земля без праведников. Вера – врач, организовала хоспис для находящихся на последней стадии рака. Говорила медсестрам: я буду пытаться сделать повыше зарплату, но если замечу, что кто-то осмелился на взятку – ищите другую работу. И вот ее нет. Я никогда не могла смириться с потерями...»

* * *

Веры Ивановны не стало 20 января 2013 года.

Ей оставалось жить десять дней, она уже была слаба, не вставала. Но стоило заговорить с ней, скажем, о Елене Сергеевне Булгаковой, как Вера Ивановна тут же откликнулась и с улыбкой начинала вспоминать свои встречи с вдовой Булгакова.

Всего за две недели до смерти она говорила приятельнице: «Я Набокову готова простить все грехи за его блистательную речь о Диккенсе». А на вопрос о том, как она себя чувствует, неизменно отвечала: «Деточка, Господь еще терпит».

* * *

Пересматривая уже опубликованные воспоминания Випы и поправляя какие-то закравшиеся неточности и опечатки, я обнаружил новые диктофонные записи наших бесед, которые не вошли в ту, имевшую читательский успех, публикацию.

* * *

Какая магия у диктофонной записи – на фоне позвякивания чайных ложечек и чашек с блюдцами (конечно же, хозяйка традиционно готовила чай, раскладывая на столике в «берлоге», как она называла свою квартиру, всевозможные сладости) звучит голос Веры Ивановны, и вновь оживают воспоминания...

* * *

Однажды я решил взять у Веры Ивановны интервью, вооружившись опросником Марселя Пруста. Сегодня ее ответы я воспринимал уже по-иному.

– Какие добродетели вы цените больше всего?

– Доброту. Очень широкую, которая дает нам силу быть счастливыми. Умение простить, забыть плохое. Веру в Бога.

- Какие качества вы цените больше всего в мужчине?

- Совпадение внутреннего и внешнего, которое часто называется обаянием.

Тепло, честность перед самим собой, верность тому, что ты любишь.

И смелость, мужество.

- Какие качества цените в женщине?

- Те, которые у меня начисто отсутствуют. Быть источником спокойствия, порядка, уюта. Умение приготовить. У меня же всегда все было наоборот.

- Ваша главная черта?

- Находиться между тысячами огней. Это гипербола, конечно, но близка к истине.

Две мои подруги, которых я люблю, не сошлись между собой. И когда я защищаю одну, то другая обижается.

У меня и в школе так было. С одной компанией дружила, а другая компания, тоже дорогая мне, этих людей на дух не переносила. И я вечно ломала голову, с кем из них встречать Новый год. Даже ловила себя на мысли: «Лучше бы была в праздники больна».

У меня нет характера настоящего. Понимаю, что кто-то не прав, но любить не перестаю.

Думать о лучшем – это для меня главное. Потому я так благодарна своим родителям: они нацелили меня на хорошее.

Самое страшное для меня – это предательство и жестокость. Эти две вещи для меня невыносимы.

– К каким порокам испытываете наибольшее снисхождение?

– К тем, которые называют «прегрешение невольное». Если обозлился, обругал кто-то. К вспыльчивости.

– Есть любимое изречение?

– Ищите хорошее. Look for the best in people.

– Как бы вы хотели умереть?

– В мире со всеми. Успеть проститься. Булгаков говорил: «Прости меня, Господи, при ми меня».

Хотела бы умереть, чтобы меня все простили.

И в сознании. Знаете, я столько наслушалась в лагере нецензурных выражений, что они где-то у меня отложились. Хотя я их никогда не употребляла.

Думаю, а вдруг в последние минуты Господь отнимет остатки разума и я начну выражаться? Тогда, сказала жене племянника Ане, закрывай двери и выгоняй людей.

– Что скажете Господу, когда окажетесь перед ним?

– Скажу: «Господи, прости меня». Я поздно, но сознаю свои пригрешения.

Понятие о рае, где праведники сияют как светильники, мне чуждо. Но я верю в вечную жизнь души. Это я почувствовала еще в лагере.

* * *

Я никогда не забываю о Випе, наших встречах. Ее слова и поступки для меня – лучшее доказательство того, что добро всегда сильнее. Это, наверное, и есть основное правило «Жизни по шкале Рихтера».

Не знаю, случайно ли, но работу над этой книгой я закончил 20 января, ровно два года спустя после ухода Веры Ивановны. А увидит свет она в год столетия Святослава Рихтера, ее Светика. Теперь уже нашего.

Игорь Оболенский,

www.igorobolensky.com

20.01.2015

Пролог

Эти записи я начал делать в 1999 году.

Поначалу хотел просто сделать очерк для газеты.

Но потом понял, что из монологов моей собеседницы может получиться настоящая биография XX века.

В этой книге много действующих лиц: Борис Пастернак и Михаил Булгаков, Константин Станиславский и Марина Цветаева, знаменитый профессор Московской консерватории Генрих Нейгауз и сталинский нарком Ежов, Юрий Нагибин и Белла Ахмадулина, художники Валентин Серов и Роберт Фальк, академик Андрей Сахаров и министр культуры Екатерина Фурцева и многие другие – великие и не очень – персонажи.

Но главных героев всего двое. Вера Ивановна Прохорова, удивительная женщина, чья судьба пропустила через себя все коллизии и трагедии ушедшего столетия.

И пианист Святослав Рихтер, чья жизнь оказалась неразрывно связана с Верой Ивановной.

Выдающийся пианист Генрих Нейгауз, учитель и друг Рихтера, в одном из своих писем ему писал: «Мне бы следовало лет пятьдесят писать, "набивая руку", чтобы написать о тебе хорошо и верно».

Я осмелился поставить точку в этой книге через одиннадцать лет... Правда, в итоге она оказалась многоточием.

* * *

Святослав Рихтер жил не один.

Камерная певица Нина Дорлиак стала для пианиста гражданской супругой. Но самым близким человеком для Рихтера на протяжении почти шести десятилетий оставалась Вера Прохорова.

Может, потому, что познакомились они, когда Светик, как его называла Вера Ивановна, только-только приехал в Москву. И все у них еще было впереди – у Рихтера слава и плата за свой великий талант, а у Прохоровой – годы лагерей, потом освобождение, работа в Институте иностранных языков и дружба со Светиком.

Випа (так, по инициалам имени, отчества и фамилии, ее называют близкие люди) всю жизнь прожила одна. И Рихтер неизменно приходил в ее маленькую комнату на улице Фурманова, а затем в такую же небольшую, правда, уже отдельную квартирку в Сивцевом Вражке.

* * *

Меня с Верой Ивановной познакомил друг. «Випа дружила с Рихтером и хочет тебе рассказать о нем. Может, ты потом что-нибудь напишешь».

Вере Ивановне действительно было что рассказать. И, как оказалось, не только о Рихтере.

Когда зимой 1999 года я только перешагнул порог дома Прохоровой, мне вспомнилось точное, не потерявшее с годами яркости, высказывание Виктора Шкловского. Знаменитый писатель в свое время сравнил дверь квартиры Лили Брик с обложкой книги, которую ему посчастливилось приоткрыть.

Впервые придя к Вере Ивановне, я еще не знал, какие удивительные истории предстоит мне услышать. Но сразу почувствовал, что произошла Встреча, о которой можно только мечтать.

Слушая и записывая монологи своей собеседницы, я удивлялся только первое время. А потом, привыкнув к тому, что Прохорова видела и знала едва ли не всех выдающихся людей прошлого (двадцатого) века (со знаковыми же фигурами века девятнадцатого она была связана родственными узами), я уже просто приходил и предлагал: «А давайте сегодня поговорим о Пастернаке». И Вера Ивановна тут же откликнулась на мою просьбу и начинала свой рассказ.

Иногда я действовал наудачу, спрашивал: «А вы видели Булгакова?»

И получал в ответ невозмутимое: «Ну как же, мы ведь были соседями».

И далее следовал монолог о писателе и его жене, с которой, как оказалось, Вера Ивановна тоже была в хороших отношениях.

Иногда я ловил себя на желании поправить Прохорову, мол, официально считается, что то, о чем она говорит, обстояло совсем по-другому.

Но вовремя одергивал себя. В конце концов, я об этом читал в книге, а Прохорова видела своими глазами или, по меньшей мере, слышала от тех, кто видел. И потом, мы ведь не писали с ней учебник истории. Скорее, у нас получалась «книга судеб».

Вера Ивановна рассказывала то, что знала. И то, что могла знать только она.

* * *

Она никогда не была замужем.

Но и одна, кажется, бывала не часто – то и дело к ней забегал кто-нибудь из студентов или родственников.

Однажды я застал у Прохоровой ее двоюродную внучку. Улучив момент, когда хозяйка отлучилась на кухню – каждый раз она настойчиво требовала, чтобы наши разговоры сопровождалась чаепитием, – внучка неожиданно и, как мне показалось, даже с какой-то злобой произнесла: «О Рихтере, значит, расспрашиваете? А вы знаете, что он сломал моей бабушке жизнь? Потому что самое ценное, что было в ее жизни, – это открытки, чемодан с которыми лежит под ее кроватью?!».

В этот момент в комнату вернулась Вера Ивановна.

Внучка, не желая продолжать начатую тему, убежала по каким-то своим делам. И больше наши пути с ней не пересекались.

Но я ее слова запомнил. Тем более что, как оказалось, она сказала правду – открытками Рихтера Вера Ивановна действительно дорожила.

Я приходил к Вере Ивановне много раз.

Перед тем как начать разговор, мы неизменно собирались выпить чаю. Расставляли чашки, раскладывали конфеты, пирожные и, налив в электрический чайник воду, включали его.

Но почти никогда до чая не доходило. Потому что, только открыв мне дверь, Прохорова едва ли не сразу начинала что-то рассказывать. И, кажется, полностью переносилась в свое прошлое.

Как-то она заметила: «Я ведь пережила всех, о ком вспоминаю. Нет ни Светика, ни Бориса Леонидовича, ни Зины, ни Юры Нагибина, ни Роберта Рафаиловича. Пустота вокруг. А я, как ни странно, жива. Может, для того, чтобы успеть рассказать о них?».

* * *

И она вспоминала.

Чашку с уже остывшим и ставшим иссиня-черным от забытого в нем пакетика с заваркой чаем Вера Ивановна замечала только через пару часов.

Вера Ивановна оказалась неповторимой рассказчицей.

Когда мы только познакомились, ей уже был 81 год. Достойный возраст для человека с прекрасной памятью и завидным чувством юмора. Но и за те годы, в течение которых мы делали эту книгу, она, кажется, почти не изменилась. То же поразительное внимание к деталям судеб своих великих современников, цепкость памяти и ироничное отношение к себе.

Во время одной из наших встреч ей по телефону позвонил кто-то из племянниц. Узнав тему нашей беседы (мы говорили об отречении Николая II и роли, которую в этом сыграл двоюродный дед Прохоровой), девушка строго, как мне показалось, поправила неточность Веры Ивановны в датах.

Та виновато улыбнулась и произнесла в трубку: «Да, я оговорилась. Но белые медведи склероза, о которых ты подумала, еще только на пути ко мне».

* * *

После того как Прохоровой исполнилось 90 лет, мне стало страшно набирать номер ее домашнего телефона. Я боялся, что мне просто не ответят. Или трубку возьмет уже совсем другой человек.

И как же я был счастлив, когда Вера Ивановна поднимала трубку и своим ставшим для меня уже родным голосом привычно произносила скороговоркой:

«Але-але-але». На вопрос о том, как она себя чувствует, отвечала: «Все еще жива, как ни странно».

А узнав о том, что я звоню из Грузии, где сейчас уже жарко, интересовалась: «Я надеюсь, только в плане температуры?».

* * *

Когда я приезжал в Москву, мы снова встречались. Привычно ставили чайник и так же традиционно о нем забывали.

Я приносил с собой диктофон и чистую тетрадь, в которой было записано только два слова – имя и фамилия очередного великого знакомого Прохоровой. Каждый раз, слушая ее, я понимал, что Вера Ивановна – это мой клад.

И моя книга...

* * *

Сама Прохорова называла этот труд «сборником бесед» – я спрашивал и записывал, а она отвечала и рассказывала. Когда рукопись первого издания должна была отправиться в типографию, я попросил Веру Ивановну написать несколько строк, которые бы предваряли публикацию. Она откликнулась на мою просьбу.

«Слава Богу», – отвечаю я сегодня на вопрос, как поживаю. Я родилась в 1918 году, и повидать мне довелось немало. Жизнь была непростой, и случалось в ней всякое.

Но все-таки я могу назвать себя счастливым человеком, так как судьба баловала меня встречами и знакомствами с удивительными людьми, у меня были замечательные родители, дяди и тети, бабушки и дедушки.

Конечно, мне есть о чем вспомнить. Но о том, что из этих воспоминаний может родиться книга, я даже не задумывалась. Хотя бы просто потому, что сама никогда не смогла бы этого сделать.

Этот сборник родился в результате наших бесед с Игорем Оболенским.

Все началось просто с разговора о Святославе Рихтере, самом близком и дорогом мне человеке. И как-то самой собой переросло в беседы о тех прекрасных людях, которых мне посчастливилось знать.

Игорю оказались интересны мои истории. А меня приятно удивили его аккуратность, внимание и настойчивость, с которыми он – признаюсь честно, неожиданно для меня – взялся за их описание.

Так, собственно, и родилась эта книга.

Вера Прохорова

1. X.2011».

Часть первая

Вера и слава

Глава первая

Випа

– Видите, фотографию «лесенкой», на которой по росту от самого взрослого к самому малому изображена семья Прохоровых? – спросила Вера Ивановна во время нашей первой встречи, усаживая меня рядом с книжной полкой, на которой были расставлены фотографии и иконы. – Она сейчас висит во всех коридорах Трехгорки. Повесили, когда дедушка перестал считаться хищником.

Я потом преподавала у них язык. Когда на фабрике узнали, что я педагог английского, пригласили. Я поинтересовалась, какой уровень учеников. «Самый высокий, – ответили мне. – Есть даже директор института». А я имела в виду уровень языка...

ВЕРА ПРОХОРОВА

Родилась 30 сентября 1918 года в Москве.

Отец – Иван Прохоров, последний владелец Прохоровской Трехгорной мануфактурой. Умер в 1927 году, похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Мать – Надежда Гучкова, преподаватель английского языка. Умерла в 1946 году, похоронена на Ваганьковском кладбище.

Прабабушка со стороны отца – Варвара Прохорова, двоюродная сестра Константина Станиславского. Похоронена в семейном мавзолее на территории Новодевичьего монастыря.

Двоюродный дядя со стороны отца – Александр Алехин, четвертый чемпион мира по шахматам.

Прадед со стороны матери – Петр Боткин, купец первой гильдии, владелец крупной чайной фирмы.

Бабушка со стороны матери – Вера Петровна Боткина.

Двоюродная бабушка – Надежда Петровна Боткина, жена художника Ильи Остроухова, коллекционера и первого хранителя Третьяковской галереи.

Двоюродная бабушка – Мария Петровна Боткина, жена поэта Афанасия Фета.

Двоюродный дед – Сергей Петрович Боткин, врач, лейб-медик императоров Александра Второго и Александра Третьего. (Его сыновья тоже стали врачами: Евгений – лейб-медик Николая II, расстрелянный в 1918 году вместе с царской

семьей в Екатеринбурге; Александр – военный моряк, врач, путешественник, женат на Марии, дочери коллекционера Павла Третьякова)

Дед со стороны матери – Николай Гучков, московский городской голова, депутат Государственной думы. Умер в эмиграции в Париже, похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Двоюродный дед со стороны матери – Александр Гучков, председатель Третьей Государственной думы, военный министр во Временном правительстве Александра Керенского. Его женой была Мария Зилоти, сестра композитора Сергея Рахманинова. Умер в эмиграции в Париже и похоронен в колумбарии на кладбище Пер-Лашез.

Закончила Московский институт иностранных языков. 17 декабря 1938 года состоялась первая встреча со Святославом Рихтером.

В 1951 году осуждена по 58 статье за «измену Родине» и приговорена к 10 годам лишения свободы.

В 1956 году реабилитирована.

Преподаватель Московского института иностранных языков имени Мориса Тереза.

* * *

Так бывает, что в одном человеке сплетается столько имен и судеб. Хотя порою, когда я пытался пересказать друзьям истории, которые поведала мне Вера Ивановна, они с недоверием переспрашивали: «Как это возможно – и Боткины, и Гучковы, и Прохоровы, и Станиславский с Алехиным, и Фет, и Рихтер с Булгаковым, и все они были связаны?»

Я бы сам не поверил, если бы не везение и счастье повстречать Веру Ивановну. Она действительно знала всех – с кем-то дружила и виделась, а о ком-то слышала, что называется, из первых уст.

Но для меня в Прохоровой сплетены не только имена и судьбы. Для меня она эталон или даже единица измерения интеллигентности. Вот я бы прям так и определял глубокого и настоящего человека, скажем, в «пять Прохоровых». А если он пустой и никчемный, то – «ноль Прохоровых». Вы потом, надеюсь, поймете, почему я так говорю.

А еще для меня Вера Ивановна – лицо настоящей России. Не с картинки или плаката, а истинной, с фотографии – самой реальной и не отретушированной. И не той «которую мы потеряли», а той, которая сама себя сберегла – несмотря ни на что, выстояла и своим существованием дает надежду.

И дело здесь не в великих предках Прохоровой или ее легендарных друзьях. Дело в самой Вере Ивановне и истории ее жизни.

С одной стороны меня, конечно, удивило, что никто не догадался написать о ней книгу. Но с другой – обрадовало.

Потому что это смог сделать я...

* * *

Когда работа над рукописью была завершена, я стал думать, каким жанром ее можно определить? Ведь мы говорили и о самой Вере Ивановне, ее семье и близких, она рассказывала о своих друзьях и знакомых. Но при этом во всех наших встречах основной темой и главным героем оставался Рихтер.

Один из учеников Генриха Нейгауза (тоже, кстати, приходившегося моей собеседнице родственником – Генрих Густавович был женат на тетке Прохоровой со стороны отца), Яков Зак, ярко сказал после одного из выступлений Рихтера: «Есть на свете музыка первозданная, возвышенная и чистая, простая и ясная, как природа; пришли люди и стали ее разукрашивать, писать на ней всякие узоры, напяливать на нее разные маски и платья, всячески извращать ее смысл. И вот появился Святослав и как бы одним движением руки снял с нее все эти наросты, и музыка опять стала ясной, простой и чистой...»

О Рихтере написана не одна книга. Но почти всюду великий музыкант предстает таким человеком-монументом, живой образ которого почти намертво заслоняют

те самые «наросты», которые, по определению Зака (записанному, кстати, и опубликованному Генрихом Нейгаузом в статье о Рихтере аж в 1946 году), «извращают смысл» самого Рихтера.

Монологи Веры Прохоровой «одним движением» ее памяти, уникальной для человека столь солидного года рождения, снимают все эти наросты.

И не только с Рихтера, но и с устоявшихся в нашем восприятии не менее монументальных образов его гениальных современников, которые тоже появятся на этих страницах...

* * *

– Я помню себя с двухлетнего возраста. К нам на дачу часто приезжали мои кузены. На них были розовые нарядные кофточки, в которых они скаты вались по лестничным перилам. Потом, много лет спустя, они мне подтвердили, что действительно в детстве у них были розовые кофточки.

Родилась я в Москве, в доме на Трех горах, где располагалась мануфактура Прохоровых. Меня несколько лет назад приглашали туда вместе с другими оставшимися в живых потомками Прохоровых. Показали часы напольные «Биг-Бен» из кабинета деда.

– Как приятно, – ответила я.

Какая-то старушка рассказывала мне, что помнит дедушку – встретила его в магазине при фабрике... Моего отца, Ивана Прохорова, ставшего после революции управляющим собственной фабрикой – Трехгорной мануфактурой, национализированной большевиками, едва не расстреляли. Из-за отсутствия в кассе денег он выдал рабочим зарплату мануфактурой и был арестован ВЧК. Когда чекисты дали ему ознакомиться со смертным приговором, он просмотрел его и подписал: «Прочел с удовольствием».

У папы было изумительное чувство юмора. Потому что приговор был полон подобными пассажами: «капиталистический хищник запустил лапы в народное добро» и тому подобными глупостями. Фабричные рабочие, хотя среди них и коммунисты были, спасли отца. Они пришли в ЧК и сказали, что Прохоров

никакой не хищник. Тогда у них еще были какие-то права.

Как раз нэп начинался, и появилась надежда, что Россия вновь возродится. Открылось много текстильных заводиков. А поскольку отец был хорошим специалистом по хлопку, то ему дали должность консультанта... До 27-го года мы жили под Москвой в Царицыно, где рабочие подыскали для папы дом с мезонином. Тогда станция так и называлась «Царицыно-дачная».

Вокруг весной всюду цвели вишневые сады, которые для местных крестьян были источником заработка – в город продавались вишни. Там были милые коттеджи с двумя террасами – верхней и нижней, круг на улице, на котором была разбита клумба с пионами. С холма дорожка, по краям которой росла сирень, вела к пруду. Мы по этой сиреневой аллее спускались к воде, на берегу стояли скамеечки, рядом было место для танцев. Поэтому я никогда не представляла себе дачной местности без воды. Потом уже, после революции, «товарищи» воду спустили и стали на месте пруда сажать капусту.

Сейчас, говорят, все восстановили. Но я ни за что не хотела бы это увидеть. Какой там парк царицынский был! Сейчас он стал как офис модный, а тогда были таинственные руины. Было действительно ощущение русского замка.

У нас было хорошо. Каждый знал, чем заниматься. Бабушка что-то на кухне делала, девочка приходила ей помогать. По воскресеньям приезжали рабочие с гармошкой и спиртными напитками, начиналось веселье. Рабочие любили папу, «Ваня, Ваня» называли его. Он всех их детей крестил.

Моего прадеда, владельца и директора Трехгорной мануфактуры, в советских газетах называли «капиталистическим хищником». Хорошо, он не дожил до этого. Прабабка мечтала, чтобы ее вместе с мужем похоронили в склепе на территории Новодевичьего монастыря. Но прадед отказался от склепа и выбрал для себя Ваганьковское кладбище. Хотел даже похороненным быть рядом с фабрикой. А прабабушка от своей мечты не отказалась, и ее похоронили возле Новодевичьего собора.

Я как-то пришла в монастырь, когда там была очередная экскурсия, и услышала, как гид объяснял, что в склепе покоится «злая капиталистка, а все Прохоровы бежали после революции за границу». Я постояла, послушала ее....

Целью жизни прабабки было выдать своих детей за дворян. Дочь Зинаиду она отправила в Воронеж, где та вышла замуж за предводителя местного дворянства Алехина. Их сын, соответственно двоюродный брат моего отца, стал потом чемпионом мира по шахматам. Связей у нас с этой ветвью семьи не установилось. Когда был жив Генрих Густавович Нейгауз, в Москву приезжал сын Алехина, но он даже не говорил по-русски уже. Так что это было лишь поверхностное знакомство.

Говорили, что брат Алехина был еще более одарен, чем знаменитый шахматист. Но тоже сильно пил. Как и папин брат-чемпион. По традициям того времени, купеческие семьи были многочисленны и держали связь друг с другом.

Кроме Алехина, в родстве с нами состояли и купцы Алексеевы, один из сыновей которых увлекся театром и взял себе псевдоним Станиславский. Он, кстати, тоже был акционером Трехгорки, как и Алехин. Папина мама, дочь той самой прабабки, тоже вышла замуж за дворянина Полуэктова, привнесшего единственную каплю благородной крови в нашу семью. При этом сама бабушка богатство терпеть не могла, обожала Достоевского и говорила: «Стыдно быть богатыми, когда вокруг столько бедных». А на упреки в том, что она одевает детей, словно ссыльнокаторжных, отвечала: «Нет, не как каторжных, а обычно. Вот когда вырастут, пусть тогда как сами захотят, так и одеваются». Так что тут прабабка со своими фантазиями о красивой жизни промахнулась. Но зато она дала детям хорошее образование, что помогло им держать дело. У прабабки было довольно оригинальное развлечение – она собирала возле себя внуков и говорила, что тот, кто скажет ей плохое слово, получит подарок. «Тому, кто произнесет: «Бабушка – старый пес» – достанется ослик», – искушала она. По семейной легенде, папа пытался было рвануться вперед и произнести заветные слова, но был удержан своей матерью. А вот Алехин, которого дома все звали Тошей, вышел и сказал: «Бабушка – старый пес». И получил ослика, на котором потом катался.

Моя бабушка со стороны мамы, Вера Петровна Боткина, к счастью, умерла до революции. Воспитывалась она, бедненькая, матерью, находившейся под влиянием Льва Толстого. Та считала, что детей надо воспитывать в строгости и с раннего возраста приучать к труду.

В результате бабушка этот труд возненавидела. В 6 утра она поднималась и шла помогать в сапожную мастерскую. Потом ее перевели в переплетную мастерскую. Замужем она была за Николаем Ивановичем Гучковым, московским

головой, родным братом Александра Ивановича, который был при царе председателем Государственной думы, а при Временном правительстве военным министром. Он же принимал и отречение императора.

У обоих братьев Гучковых очень интересная судьба. Александру Ивановичу, родному брату дедушки, предлагали стать министром промышленности и торговли сначала председатель Совета министров граф Витте, а затем сменивший его Петр Столыпин, с которым Гучков дружил. Но брат дедушки каждый раз отказывался, так как не хотел работать вместе с некоторыми членами Совета министров. Император хорошо относился к обоим Гучковым. Когда Александра Ивановича избрали в Государственную думу, Николай Второй во время аудиенции сказал его родному брату Николаю Ивановичу: «Я узнал, что брат ваш избран, мы очень рады». Александр Иванович какое-то время был председателем Государственной думы. Но после того, как позволил себе критику в адрес Распутина, ему пришлось уйти в отставку. Его возненавидела императрица, ее самым страстным желанием было увидеть Гучкова повешенным на дереве во дворцовом парке. Николай Второй потом так и говорил о дедушке и его брате – «хороший Гучков» и «плохой Гучков»... Александр Иванович мечтал о том, чтобы императором России вместо Николая II стал цесаревич Алексей, а его регентом – великий князь Михаил Александрович. После Февральской революции, когда в Пскове готовился акт об отречении Николая Второго, Александр Иванович пытался уговорить великого князя Михаила стать новым императором. Но вместе с депутатом Госдумы Петром Милюковым, который разделял ту же точку зрения, он оказался в меньшинстве. И монархия в России пала.

Только после долгих уговоров Керенского брат дедушки согласился стать военным и морским министром во Временном правительстве. В отставку он подал после того, как поддержал генерала Корнилова, который готовил мятеж. Несколько дней Гучков даже провел в Петропавловской крепости. Когда власть захватили большевики, он отправился на Юг к генералу Деникину, после поражения которого уехал в Париж.

Дело в том, что Гучков был награжден орденом Почетного легиона. И это помогло ему, пусть и не на широкую ногу, но безбедно жить во Франции и получать пенсию.

Как мне рассказывали, в эмиграции к Гучкову относились довольно холодно, так как именно его считали виновным в отречении Николая II. Николай Иванович,

мой дед, всегда восхищался политической деятельностью брата. Но сам был монархистом и после того, как дядя Саша (я так привыкла называть своего двоюродного дедушку) принял самое активное участие в организации отречения императора, восклицал: «Как можно принуждать к отречению?»

В эмиграции многие выказывали дяде Саше протест. А он рассказывал, что царь Николай вел себя в высшей степени достойно и говорил: «Я сделаю все для блага России».

Умер Александр Иванович в 1936 году и похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Родной мой дедушка тоже сумел выехать в Париж. Так что оба Гучковых благополучно встретили старость в столице Франции.

Кстати, дочь Александра Ивановича стала яркой коммунисткой. Ее тоже звали Верой. Судьба тетки – это сюжет для отдельного романа.

* * *

Стоит заметить, что история Веры Гучковой легла в основу телевизионного сериала, который снял Михаил Козаков. Фильм вышел в 2006 году, Вере Ивановне экранное воплощение родной тетки и «дяди Саши», тоже появлявшегося в сериале, не пришлось по душе.

Зато рассказывала она о своей тезке с явным удовольствием.

* * *

По иронии судьбы дочь председателя Третьей Государственной думы, военного министра Временного правительства и впоследствии одного из соратников командующего Белой армией генерала Деникина искренне верила в идеи коммунизма, с которыми пытался всю жизнь бороться ее отец. Матерью Веры была давняя поклонница Александра Гучкова по имени Мария. Она, кстати, была приятельницей актрисы Веры Комиссаржевской, с которой, как говорили, у Гучкова был роман. Но тогда о таких вещах не полагалось шуметь.

А тетя Маша бегала за Гучковым. И он, уезжая на войну с бурами, сказал ей: «Если вернусь живым – женюсь». Как гласит семейная легенда, не надеясь на самом деле на свое возвращение. Но вернулся и сдержал слово. Дядя Саша вообще был отчаянным человеком, дуэлянтом. Однажды вызвал на дуэль некоего Мясоедова, которого все называли немецким шпионом. Публично он изобличен в предательстве не был, и Гучков вслух назвал его шпионом и был вызван за это на дуэль. Мясоедов промахнулся, а дядя Саша выстрелил в воздух со словами: «Я не хочу спасти вас от виселицы». И вскоре Мясоедова действительно казнили...

* * *

Веру с матерью и Гучкова разделила Гражданская войны. Девочка с матерью пробирались к Москве, откуда могли уехать в Париж.

В одной из деревень их арестовали красные. Как мне потом рассказывала сама Вера, тетя Маша почему-то все время смеялась и постоянно говорила только одно – чтобы их отпустили.

Судьбу их решали двое красных. Один предлагал отпустить: «Она же какая-то дурочка». Но другой отвечал: «Гучков бы на дурочке не женился», и настаивал на том, чтобы Машу вместе с дочерью повесили. Уже была выстроена виселица, когда село захватили белые. И тогда прежние мучители стали просить тетю Машу заступиться за них. Особенно просил самый лютый, который собирался ее повесить.

«Я же так с вами обращался хорошо», – говорил он. А тетя Маша, опять-таки смеясь, отвечала: «Нет-нет, вы забыли, вы же хотели меня повесить. Но я за вас все равно замолвлю слово». Правда, в итоге этих большевиков все равно повесили. На той самой виселице, которая была сооружена для тети Маши и Веры.

Вера потом долго находилась под впечатлением от произошедшего и в своих детских рисунках в основном рисовала виселицы...

* * *

К счастью, семье дедушкиного брата удалось эмигрировать в Париж. Где, как я уже сказала, Вера стала коммунисткой и ратовала за идеи Маркса-Энгельса – Ленина с берегов Сены.

Причем делала это весьма и весьма активно. Так, именно благодаря ее стараниям в Советский Союз стали возвращаться белоэмигранты. Которых тут, разумеется, арестовывали и отправляли в сталинские лагеря. Когда Вера узнала о том, что арестован князь Мирский, вернувшийся в СССР из Франции, она стала требовать встречи с тогдашним наркомом НКВД Ежовым. И добилась своего – Вере была назначена встреча в кабинете сталинского любимца. Его должность тогда, кажется, называлась что-то вроде «Генеральный комиссар». В Москву тетка приехала на восьмом месяце беременности. Она рассказывала, что Ежов то и дело с подозрением поглядывал на ее огромный живот. Боялся, наверное, что она прячет там бомбу. Хотя перед тем, как запустить в кабинет главного чекиста, Веру не один раз досмотрели и проверили. Тетка отказалась от предложения присесть и весь разговор с Ежовым провела на ногах. А он, бывший очень маленького роста, ходил кругами вокруг ее выпирающего живота и удивлялся: «Как? Неужели князя Мирского арестовали? Ну я им покажу! Эта ошибка будет немедленно исправлена!»

При том что, конечно же, все аресты проводились не просто с его ведома, но и по его указке. В конце разговора Ежов наконец не выдержал и, кивнув на живот Веры, спросил: «А вы, значит, скоро мамой станете? У вас в Париже есть кто?» Александр Иванович Гучков к тому времени уже умер. О чем Ежов наверняка прекрасно был осведомлен. Но делал вид, что ничего не знает. «Да, у меня в Париже мать», – ответила тетка. «Вот и прекрасно! Поезжайте к матери, она вас наверняка уже заждалась». – «И не подумаю! Я хочу, чтобы мое дите родилось в Советском Союзе!» – «А может, все-таки в Париж?» – «Нет! Ребенок родится только в Советском Союзе, самой великой стране мира!» Ежов не стал спорить с теткой. Согласившись с ней, он попрощался и обещал, что все недоразумения будут улажены.

Вера была в восторге от Ежова. Говорила даже, что у него «иконописные глаза». На дворе стоял 1937 год, мы с мамой слушали Веру, переглядывались между собой и лишь молча кивали. Не успела Вера вернуться после разговора с Ежовым, закончившимся в лучших традициях того времени на рассвете, в нашу квартиру на улице Фурманова, как ей позвонили из НКВД и сообщили, что Вера обязана в течение 24 часов покинуть пределы СССР. Сейчас-то я понимаю, что Ежов просто пожалел тетку и, приказав ей выехать из Советского Союза,

сохранил ей жизнь. Наверное, ему показалось забавным, что дочь царского сановника так рьяно служит идеалам коммунизма. Сама же Вера в тот момент была очень огорчена. Да и мы с мамой тоже расстроились. Одним словом, на Белорусский вокзал мы провожали тетку со слезами на глазах... В Париже Вера поддерживала связи со многими русскими эмигрантами. Очень дружила с Сергеем Эфроном, мужем Марины Цветаевой. Вместе с ним Вера была членом «Союза возвращения на родину». Об Эфроне сегодня говорят и пишут много гадостей, что он, мол, был агентом НКВД и все такое прочее. Я точно знаю, что все это неправда. Эфрон, кстати, вернулся в Советский Союз в 1937 году. Через два года следом за ним и дочерью Алей в СССР приехала и Марина Цветаева. Что Сергею Эфрону до ареста и расстрела оставалось всего два года, она, конечно же, не могла и подумать...

Разумеется, тетка хорошо знала Цветаеву. Они переписывались и довольно часто встречались. Вера говорила, что Цветаева была ненормальной. Могла мило общаться с вами, а потом прийти и вдруг спросить: «За что вы меня так ненавидите?».

* * *

В Париже в Веру был влюблен Радзевич. В которого, в свою очередь, была влюблена Марина Ивановна Цветаева. Она вообще была страстным человеком и многое себе позволяла.

Вера относилась к Радзевичу спокойно. Говорила, что он был красив, но не очень интересен, с ним быстро становилось скучно. А Марина как раз любила красавцев с непростым характером. Она и сама такой была.

Больше всего на свете Цветаева обожала своего сына Мура. Как-то они загорали на пляже и одна из отдыхающих попросила юношу отойти в сторону и не закрывать солнца. Марина Ивановна искренне удивилась: «Как солнце может закрывать солнце?..» Своего мужа-англичанина Вера тоже сумела увлечь коммунистической идеологией и заставила поехать в Испанию, где началась гражданская война, на которой супруг тетки и погиб. Зато полученное благодаря ему английское гражданство спасло Веру жизнь во время Второй мировой войны.

Когда в Париж вошли фашистские войска, тетка, попавшая в концлагерь, сумела из него выбраться и выехать в Лондон. Правда, после войны она разочаровалась в коммунистических идеях и вышла из партии. Она даже скупила нераспроданный тираж написанной вскоре после Второй мировой войны своей книги об СССР и Сталине и уничтожила его. А своему другу Морису Торезу сказала о былых увлечениях коммунизмом: «Это скучно!». Но интереса к политике не потеряла. Она была очень активным защитником молодого государства Израиль. В Лондоне тетка жила на втором этаже небольшого особняка. Как-то в ее доме начался пожар. Причем такой сильный, что у приехавших пожарных не было ни малейшей надежды, что кто-нибудь из жильцов останется в живых. На всяких случай они спросили у соседей, есть ли кто-нибудь на втором этаже. «Да, – ответили они. – Там живет пожилая женщина».

Поскольку все случилось поздней ночью, пожарные махнули рукой: «Она, наверное, уже погибла во сне – если не от огня, то от угарного газа». Однако соседи возразили: «Она не может погибнуть, она – русская». Тогда пожарные забросили на второй этаж (лестница, ведущая на него, уже рухнула) железный крюк. И что вы думаете? Этим крюком они каким-то образом зацепили Веру и вытащили из объятых пламенем дома. И она осталась в живых... В шестидесятых годах Вера снова приезжала в Москву. Она тогда работала в западном издательстве, для которого делала интервью с Борисом Пастернаком. Вместе с ней к поэту на завтрак, имевший место у Ольги Ивинской, ходила и баронесса Будберг, знаменитая возлюбленная Максима Горького. Дружба двух женщин потом дала повод для разговоров о том, что они обе были приставлены друг к другу. А Нина Берберова даже написала, что «еще неизвестно, кто за кем следил – Трейл за Будберг или Будберг за Трейл, или обе они следили за Пастернаком, который кормил их икрой...» Я общалась с Верой во время ее последнего приезда в СССР. Тогда как раз был конфликт с Израилем. И я помню, как Вера шла со мной от метро, прихрамывала (после того пожара в Лондоне, когда ее багром достали из дома, у нее была повреждена нога) и без остановки говорила, говорила об Израиле. Она тогда тоже остановилась у нас на улице Фурманова.

Вера очень грассировала: «Вега, Изгаиль кгошечное госудагство и не может быть аггесогом. Я тебе сейчас все нагисую». И принималась чертить палкой на земле карту мира, благодаря которой я должна была понять, как выглядят Израиль и Советский Союз. Я предложила ей продолжить лекцию дома, а то на нас уже начинали смотреть прохожие. Но она продолжала чертить палкой на земле и читать лекцию.

Толпа уже собралась – дама явно нерусского вида что-то говорит об Израиле. Слава Богу, ничего не случилось. Хотя Вера произносила и такие фразы: «Конечно, тебе в это тгудно повегить. Ведь у вас всюду цагит ложь и вы не знаете пгавды».

Я еле уговорила ее пойти домой. А там мы с мамой ей сказали, что мы за мир и не хотим войны. «Вы-то за миг, а вот ваше пгавительство может захотеть войны!» Вера одно время дружила со Светланой Аллилуевой. Но потом они поссорились из-за Сталина. Ведь его дочь была большая сталинистка. «Света с большими стганностями», – говорила Вера о ней. Но очень любила дочь Светы Ольгу. Во время своего последнего приезда в Москву Вера рассказывала, как ее пытались уговорить сотрудничать с британской разведкой МИ-6. «Но я категогически отказалась, – говорила она. – Да, я ненавижу коммунистов, но это моя стгана и я никогда не буду пготив нее габотать». Она очень приглашала меня с сестрой Любой к себе в Лондон, начала какие-то бумаги оформлять. Но тогда выехать за рубеж было так сложно, что ничего у нас не получилось....

Умерла Вера в Кембридже в 1987 году в уже очень преклонном возрасте. Ей был 81 год.

Так получилось, что она рассорилась со своей единственной дочерью, и хоронил ее внук и та самая Светлана Аллилуева. Потом мы с сестрой были на ее могиле на одном из лондонских кладбищ...

* * *

Героиней следующего рассказа Веры Ивановны стала ее двоюродная бабушка, жившая в одном из переулков в центре Москвы. Теперь, когда я гуляю по столице, то и дело ловлю себя на мысли – в этом доме происходило действие этого эпизода из биографии Прохоровой, а здесь – этого. Даже бывая в Новодевичьем монастыре и проходя мимо увенчанного золотой маковкой мавзолея-часовни, где покоится прабабка Прохоровой, ловлю себя на желании поведать пришедшим в монастырь о своем знакомстве с Верой Ивановной. Однажды я так и сделал, прочтя фактически лекцию о судьбе семейства Прохоровых женщине, которая продает в часовни свечи.

Трубниковский переулок, что неподалеку от Нового Арбата, для меня тоже связан с именем моей дивной собеседницы. В одном из особняков жил знаменитый художник и коллекционер, с которым Вера Ивановна была связана родственными узами.

* * *

Бабушкина сестра, Надежда Петровна Боткина, была замужем за художником и коллекционером Ильей Остроуховым. Жили они в его московском особняке в Трубниковском переулке. На первом этаже находились жилые комнаты, а на втором – коллекция Остроухова, украшением которой была картина Тициана. Мы с мамой часто навещали дядю Илю, как я называла Остроухова, и его жену, которую я про себя окрестила «тетя Надя-старушка». Это было в конце двадцатых годов. Мне тогда лет десять было. Я навсегда запомнила мощную фигуру Остроухова, который совсем не выглядел старым. У него было довольно своеобразное чувство юмора. Когда к нему в гости приходила одна родственница, которую он не очень жаловал, дядя Илья говорил: «Марья Петровна, под стол!» А моего маленького двоюродного брата встречал со словами: «Какие у тебя щечки розовые! Только зажарить и съесть!».

* * *

Надежда Петровна всегда была невозмутима и спокойна. Дядя Иля так и говорил: «Ну, Надежда Петровна, ну, римская матрона». Ее и правда невозможно было вывести из себя. Вот пример. Каждое лето супруги ездили в Крым, в свое имение. По дороге Илья Семенович обязательно выходил во время остановок и покупал моченые яблоки, очень он любил их есть в поезде.

И вот как-то в очередной раз он вышел на перрон, а поезд тронулся, проехал немного и резко затормозил. В вагоне начали переговариваться, мол, какой-то несчастный попал под поезд. И тут в дверях своего купе появляется Илья Семенович. Надежда Петровна окинула его взглядом и невозмутимо заметила: «Иля, а я думала, что именно ты тот несчастный, который попал под поезд».

Как Илья Семенович вышел из себя, как закричал, услышав эти спокойные слова, а тетя Надя и бровью не повела.

Остроухое был большой эстет, любил, чтобы все было на своих местах и в целостности и сохранности. Можно представить его раздражение, когда у заварочного чайника отбилась носик, а тетя Надя не спешила его выбрасывать. Дядя Иля несколько раз приказывал убрать его со стола, а она все равно продолжала им пользоваться. Наконец терпение у дяди лопнуло, он сам отправился на помойку и выбросил чайник. Каково же было его изумление, когда на следующее утро тетя Надя невозмутимо принесла заварку именно в этом чайнике.

Дядя Иля был человеком широкого образования и смелого вкуса. Он и Щукин стали первыми, кто начал покупать картины французского художника Анри Матисса. Павел Третьяков, умирая, назначил дядю Илю вместо себя хранителем галереи. Остроухов был очень добрым человеком. Когда мы приходили, он говорил жене: «Надежда Петровна, дети у порога. Где пирог?» И она отвечала: «Иля, пирог готов».

Я его очень любила. Он первым открыл мне разницу между материальным и духовным миром. Иконы в его доме были настолько выразительны, что мне не хотелось от них отходить. Они, казалось, физически излучали тепло и добро. Я спрашивала у дяди Или:

– Почему возле икон становится так хорошо?

И он отвечал:

– У человека есть тело и есть душа. В картине ты видишь краски, а в иконах – чувствуешь душу. Те, кто писал иконы, готовились к этому, постились. На иконах нет ярких красок, они темные. Но яркости и не надо. Иконописцы были настоящие и глубоковерующие люди, и это чувствуется. Ты же не будешь думать, как одета Богоматерь. Это другой мир, нежели тот, в котором мы живем. Вот иконы работы Андрея Рублева. Он ведь жил в очень непростое время, а его иконы оставляют только светлое впечатление. Потому что главное – какая душа у художника. Если в ней есть свет, значит, есть благодать. Тогда и на зрителя перейдет этот свет.

Находил, конечно, и более точные слова. Меня иконы потом всегда притягивали. Я так полюбила бродить среди картин, что попросила у дяди Или разрешение самой приходить и смотреть его коллекцию. Он позволил. Не забуду, какое

сложное впечатление произвели на меня работы Врубеля. Остроухое и тут пришел мне на помощь и все объяснил: «Художник был нездоров, и его душевная болезнь ощущается и на холсте».

Судьба дяди Илиной коллекции была трагична.

После неожиданной смерти Остроухова ценности из его дома были попросту расхищены. Что-то передали в Третьяковскую галерею, а что-то навсегда исчезло. Как, например, картина Тициана.

У Остроухова была дома богатейшая библиотека из 12 тысяч томов, которую после его смерти расхитили. Это было страшное зрелище. Даже мы, дети, понимали, что происходит что-то ужасное и стихийное.

Нам позволили взять несколько книг. У нас они потом хранились с экслибрисом «Из библиотеки Ильи Остроухова». В книгах большевики были мало заинтересованы. Их больше интересовали картины, которые они спешно вывозили. Иконы тащили. Бедная тетя Надя! Ее выселили из собственного дома во флигель во дворе. Просто взяли и вышвырнули. Я помню, как переносили ее мебель из дома в этот флигилек.

Мама все время ходила к ней. Тетя Надя все кротко терпела. Через год она умерла. Нам позволили забрать с собой несколько книг из библиотеки дяди Или. Помню, у нас была книга Гете на немецком языке. Каждый раз, открывая ее, я вспоминала те волшебные дни, которые я проводила в его доме в Трубниковском переулке.

«Наелась? – спрашивал меня за столом Остроухое. – Тогда вставай и беги смотреть картины...»

* * *

Неожиданно Вера Ивановна повысила голос и довольно резко обратилась к фотографу, которого я привел с собой, попросив сделать несколько снимков моей собеседницы и переснять старинные фотографии, хранящиеся в ее архиве. «Этот портрет не снимать! Я не хочу, чтобы о нем все узнали!», – решительно сказала Прохорова.

Речь гита о работе художника Валентина Серова, висящей в изголовье кровати Веры Ивановны. Честно признаюсь, я и не думал, что Вера Ивановна может быть такой строгой!

Потом я узнал, что не было ни одной встречи с журналистом, во время которой хозяйка не просила бы, не снимать и не писать о портрете Серова. И почти каждая публикация о Прохоровой содержала подобный пассаж: «Маленькая квартирка на Сивцевом Вражке, главным украшением которой является картина Серова». Родичи, как называла близких Вера Ивановна, сердились, но ничего поделать было нельзя.

* * *

Одним из близких друзей дяди Или был художник Валентин Серов. В 1912 году Серов написал мамин портрет. Вообще, бабушка Вера Петровна заказала ему написать портрет каждой из ее дочерей, так что у нас было четыре работы Серова. Она рассказывала, что одной из работ сам художник остался недоволен. И как бабушка ни умоляла его оставить портрет дочери таким, каким он вышел, Серов не соглашался. Он сложил рисунок на четыре части и разорвал его. Потом, конечно же написал новый. Серов ведь был художником с весьма непростым характером. Известно, что когда он в Зимнем дворце писал портрет Николая II, в зал неожиданно зашла императрица и принялась критиковать его работу. Тогда он вручил ей палитру и кисти и предложил самой закончить портрет. Александра Федоровна пришла в бешенство, а император рассмеялся. Родичи укоряют меня, что я держу портрет кисти Серова у себя дома просто так, без всяких предохранительных мер. Кстати, этот портрет был на выставке Рихтера. Светик очень любил мою маму....

* * *

Вот, наконец, впервые и прозвучало имя Рихтера. Его Вера Ивановна вспоминала потом всегда. Даже просто, как в эту минуту, рассказывая о своем детстве.

* * *

Когда у меня берут интервью, то спрашивают про Прохоровых, реже про Гучковых и Боткиных. Предки мои были людьми интересными.

По линии бабушки Полуэктовой, папиной мамы, в родстве с нами состояла правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Мезенцова. Она была замужем за родственником бабушки. Я Наталью Сергеевну хорошо знала. Она ведь умерла сравнительно недавно, чуть не дожив до 200-летия Пушкина.

В Наталье Сергеевне чувствовалась порода, в ней была стать. Она рассказывала мне о старшей дочери поэта, Марии Гартунг, которая после революции жила в общей квартире, в клоповнике.

Мария Александровна была первым ребенком Пушкина. У нее был какой-то несчастный брак, я это по семейным преданиям знаю.

Она прожила большую жизнь: родилась в 1832 году и умерла в 1919-м.

Мария Александровна буквально нищенствовала. Когда становилось совсем невмоготу, отправлялась на Тверской бульвар к памятнику отцу и рассказывала бронзовому Пушкину о своих бедах.

В конце концов пошла на прием к наркому просвещения Луначарскому. Он принял ее и обещал помочь дочери Пушкина. Но в итоге ни пенсии, ни отдельной квартиры Мария Александровна так и не получила. Лишь в день ее похорон вышло постановление о выделении пенсии, тоже, между прочим, копеечной. Гартунг умерла в 1919 году на руках Мезенцовой.

Мы ее называли тетя Наташа. Помню, как она возмущалась: «Ну в какой бы еще стране мог быть такой министр культуры, который бы дал роскошный особняк босоножке Дункан и при этом оставил в нищете дочь Пушкина?»

* * *

Через Гучковых наш род оказался связан и с Рахманиновым. Дедушкин брат Константин Иванович был женат на двоюродной сестре композитора, Варваре Зилоти.

Константин был младшим сыном Ивана Гучкова, старшие братья его баловали. Я, конечно, с Рахманиновым знакома не была. Но с ним встречалась моя любимая тетка Вера Трейл, о которой я рассказывала. Она называла Рахманинова просто «дядя Сережа». Правда, они не сошлись во взглядах политических.

Вера же была, к ужасу отца, яростной коммунисткой. И, встречаясь за границей с Рахманиновым, и его пыталась совратить в коммунизм. Но это ей не удалось, конечно. Рахманинов говорил, что Россия – это Россия, а СССР – это совсем другое.

Вера, когда приезжала в Москву, рассказывала мне об удивительной любви Рахманинова к России. Тот даже просил, чтобы Вера, уезжая из СССР, привезла ему ростки березок.

* * *

Мои родители не являлись особо примечательными людьми, но были преданы семье, были людьми большой души. Папа и мама оставались жизнерадостными и любили людей, несмотря на все тяготы, которые им довелось испытать.

Я ни разу не слышала от них слово «ненависть». И очень им благодарна за свое детство. Мне Царицыно, где мы жили, казалось раем земным. Никогда не забыть вишневые сады, которые каждую весну стояли, как молоком облитые, в цвету...

Дедушка Прохоров водил папу на фабрику начиная с 10 лет. И потом папа мне рассказывал о Трехгорке не как об утраченной собственности, а как о какой-то сказке. Там жили станки, у них была своя душа, они радостно работали и пели. А когда машины заболели, то хрипели, и их надо было лечить. И для меня Трехгорка тоже являлась сказочным царством.

Я никогда не слышала от своих родителей проклятий, жалоб. Они дали мне такой заряд счастья, которого мне хватило на всю мою немалую жизнь.

* * *

Папа умер через десять лет после революции. Он завещал похоронить себя на Ваганьковском кладбище, неподалеку от Трехгорки. Его гроб рабочие несли на руках. На простой полотняной ленте кривыми буквами тушью написали: «С тобою хороним частицу свою, слезою омоем дорогу твою».

Когда я была арестована и мне стали говорить о полученном родительском наследстве, я сказала, что да, получила. Ту самую ленту, которая хранится у меня по сей день.

Единственное богатство, которое мне досталось от родителей, это серовский портрет. После войны у нас были такие долги, что второй портрет – маминой сестры – пришлось продать.

Его купила балерина Гельцер. Она спросила, кем мне приходится Прохоров. И узнав, что отцом, грустно улыбнулась: «Да, Ваня был чудесным человеком, я его хорошо помню».

Папа дружил со всей богемой Москвы, часто бывал в Художественном театре, знал Москвина и Шаляпина, очень любит цыган, у «Яра» бывал. Дедушка тогда и сказал: «Ну, тебе пора жениться».

* * *

Встреча с мамой произошла на благотворительном балу. Тогда было принято, чтобы дочери состоятельных предпринимателей и дворян торговали на базарах, которые устраивались в пользу неимущих.

Сначала был бал, а в антрактах девушки ходили с подносами и продавали всякие безделушки, картины начинающих художников, предметы туалета... Если вещь стоила, например, 10 рублей, то купец давал тысячу. Это все хорошо показано в старом фильме «Анна на шее».

Даже если купец был скуп, он не мог не дать, скажем, тысячу, когда дочь Морозова или Мамонтова, красивая девушка, подходила и предлагала что-то купить.

Из уст в уста передавали историю об одном купце. Ему предложили приобрести картину. «Я не интересуюсь живописью», – ответил он. Тогда ему предлагают книгу. В ответ слова: «У меня уже есть своя библиотека». Наконец скряге предложили мыло, и тут он уже не мог отказаться.

Вот так и моя мама тоже торговала.

Дедушка Прохоров обратил внимание отца на маму, сказав, что это очень хорошая семья. При том, что Николай Иванович Гучков не был очень богатым, а сам Прохоров тогда уже был миллионером.

Дедушка Гучков думал, что папа женится на его старшей дочери – Любе, она тоже была на выданье. Но папа выбрал маму, они были ровесники. Папа 1890 года рождения, мама – 1889-го. Он стал приезжать к Гучковым в дом, полученный бабушкой Верой Петровной в наследство от Боткина.

Мама потом рассказывала, как весело они проводили время. У папы вились волосы, просто кольцами лежали. Сестры Гучковы думали, что он специально завивается. И как-то решили облить его водой. Но после этого кудри у папы еще больше завились.

Свадьба у родителей была широкая, играли ее в Петербурге в 1910 году. Кто-то из родственников был болен и не мог приехать в Москву. На свадьбе были представители и от фабрики, от рабочих. Где-то есть фото, на нем видно, как много народу присутствовало – рядами стоят. В первом – папин брат Тиша, так звали Александра Алехина, в будущем единственного чемпиона мира по шахматам, который умер с титулом чемпиона.

Дедушка Прохоров все оплатил. А потом родители поехали путешествовать за границу – были в Италии, Австрии, Франции.

Лучшие врачи Европы сказали маме, что у нее не может быть детей. А через семь лет появилась я. Родилась в июне, а зародилась, получается, под гром «Авроры», в октябре 1917 года.

* * *

Первый железный занавес опустился для меня, когда умер папа. Я не могла поверить, что моего папы больше нет. Ему ведь было всего 37 лет.

У него была язва, ему сделали операцию в Боткинской больнице. Но сердце не выдержало.

Это было первое сокрушительное горе. На чьем-то дне рождения, кажется тети Любы, папа что-то съел, и у него случился приступ. Его отвезли в больницу, откуда папа уже не вернулся. Помню, как мама утром приехала из больницы, она там все это время ночевала, и попросила морфию «для Вани». Никогда мне не забыть, как тетя, у которой мы были в гостях, пыталась приготовить меня к тому, что папы больше нет. Я не верила. И только когда мама пришла уже в трауре, я смогла поверить.

Первый сочельник мы с мамой и братишкой провели у папы на Ваганьковском кладбище. Поставили в его склепе елочку и встретили Рождество 1928 года. По инерции, после ареста отца схватили и маму. Но ее довольно быстро выпустили, а мне сказали, что мама уезжала навещать тетю.

* * *

Мы с братишкой оставались тогда с бабушкой. Она мужественно вынесла горе – умер старший любимый сын.

За самой бабушкой ведь охотились чекисты, пытались арестовать. Но она была фактически бездомная, жила то у одних, то у других родственников. И благодаря этому уцелела. Бабушка Гучкова, к счастью, умерла до революции, в 1915 году.

Я не по интеллекту, а по тому, как у меня все валится из рук, пошла именно в бабушку Прохорову. Мы когда с ней читали, например, «Дети капитана Гранта», то по карте смотрели маршрут движения кораблей. Бабушка все время что-то читала мне, рассказывала. Говорят, у меня память хорошая. Мне кажется, обычная память. Но все, что есть – это благодаря бабушке Прохоровой. Ее не стало в 1928-м...

Мама воспитывала нас с сестрой и братом в умении во всем замечать прекрасное и ни в коем случае не пропускать его.

– Мам, – говорили мы, – ну что хорошего в цветочке, на который ты показываешь? Он же такой маленький.

– А какой он зато красивый! – отвечала она.

Или, если на улице было холодно и стоял мороз, мама показывала нам узоры на окнах и восхищалась, как они затейливо прекрасны.

Зимой нам с братом вымазывали лицо гусиным жиром и мы в валенках и шубках отправлялись кататься на горку. Брали решето старое, дно его обмазывали навозом, заливали водой – и получалась мазанка. На ней и катались.

С нами еще и папина кормилица жила. И папина мама. Так что я никогда не чувствовала ни мрака времени, в котором жила моя семья, ни напряжения. Хотя к родителям приезжали друзья, возвратившиеся из ссылки. И, конечно же, ни у кого из взрослых не было иллюзий по поводу той эпохи, в которую им выпало жить...

О прошлой жизни у нас дома, конечно же, вспоминали. От бабушки и папиной кормилицы я часто слышала о «мирном времени» – о периоде до Первой мировой. «В мирное время продавалось то-то...» – вспоминали они. А вот о революции не говорили. Просто это не было частью нашей жизни. Как-то не воспринималось, что наш род разорен. Дедушка же в Париж уехал. Я после лагеря, когда стало можно ездить за границу, была в Париже, проходила мимо его дома на рю Гюстав Доре рядом с парком Монсо. В этом доме уже жили другие люди. Мама моя, может, тоже хотела уехать за границу. Она предвидела возможное будущее. Но папа не представлял себя за границей, он не видел жизни без фабрики. Когда его не стало, рабочие еще три года материально помогали нашей семье. В 1930 году мама попросила их больше не приходить – связь с нами стала уже небезопасна. Кстати, в 1937 году, когда в стране начались повальные репрессии, за папой вновь пришли мастера кровавых дел НКВД, решив, очевидно, довести до конца начинание своей предшественницы ВЧК. Узнав, что Ивана Николаевича нет дома, они переполошились – где же он может быть, не сбежал ли?

«На Ваганьковском кладбище», – ответила мама.

* * *

После Царицына мы переехали в Черкизово. Там я впервые узнала мат. Пришла к маме и произнесла трехбуквенное слово. Мама удивилась, откуда я его знаю. Ну я и объяснила, что на заборе увидела и прочитала.

Вообще, Черкизово мне запомнилось как очень неприятное место. С одной стороны от нашего дома находилось кладбище, а с другой – какое-то грязное водовместилище, где, несмотря на его малый размер, каждое воскресенье умудрялись тонуть местные пьяницы.

Слава Богу, там мы задержались недолго. И через год перебрались уже в Нащокинский переулок.

Дедушка Гучков, хоть и являлся московским головой, богатым не был. При этом никогда не брал жалованье, а складывал его в ящичек, из которого в специальный день раздавал деньги нуждающимся. Сам дедушка жил с бабушкой на Маросейке, в доме, который бабушка получила в приданое. У дедушки был дом в Поповке, это рядом с Архангельским, имением Юсуповых. При встречах они раскланивались друг другу.

А еще он владел имением Артек в Крыму, куда иногда ездил с бабушкой. После революции все отняли. Из дома на Маросейке позволили выйти буквально в чем были... Так вот, дедушке принадлежал доходный дом. Он очень извинялся перед своей дочерью, сестрой мамы, – когда она вышла замуж, дедушка не смог ей предоставить квартиру в этом доме, так как все они были заняты жильцами. В результате семью тети поселили на нижнем этаже.

«Как только кто-нибудь съедет – я тут же тебя переведу в лучшую квартиру», – пообещал дедушка Гучков. Но не успел.

* * *

Мы тоже переехали в этот дом и поселились в бельэтаже. До 1933 года наша улица называлась Нащокинским переулком, а потом ей дали имя писателя Фурманова.

Мы жили в бывшей столовой, отделенной от коридора только толстым тяжелым занавесом. Потому все передвижения соседей по коридору были весьма ощутимы. А соседи у нас были разные.

В конце коридора жил сотрудник газеты «Долой алкоголь», лютый пьяница и отличный знаток алкоголя по фамилии Гаврилов-Терский. Нас он замечал только тогда, когда мы своими проделками вмешивались в его жизнь. Братья однажды залепили ему все окно снегом. Очнувшись от запоя, Терский подумал, что он погребен под снегом, и страшно испугался.

На вид он был страшноват, так как, несмотря на молодой возраст, ему было лет 35, его лицо было настолько изменено и искажено алкоголем, что трудно было себе представить, что Терский умеет писать, читать или вообще исполнять человеческие функции.

На лоб его свисали рыжеватые космы, закрывавшие тусклые глаза. Воду Терский не признавал, и это тоже бросалось в глаза. Одет он был зимой и летом в одно драповое клетчатое пальто, а на ногах была разная обувь: на одной ноге – сандалия, а на другой – ботинок с пряжкой.

Его вклад в алкогольную газету оставался для нас загадкой, но деньги на водку он находил всегда. Возвращаясь домой, Терский часто не мог открыть дверь ключом и засыпал у порога, блокируя вход и выход. Иногда он сутками не выходил из своей берлоги, из которой доносились странные звуки – не то хрип, не то храп. Проснувшись, он со страшным ревом вырывался в коридор с криком: «Пора на охоту!»

Это был долгожданный момент в жизни братьев, двоих Николаев – моего родного и двоюродного, сына тети Любы. Они пытались бросить ему под ноги какой-нибудь предмет или мяч, который Терский принимал за желанного зверя и старался поймать, всегда тщетно.

Случилось так, что Терский спяну уступил свою комнату разбитной девице с ребенком. Та поселилась в его берлоге и занялась самоутверждением в нашей

квартире.

Красотой она не отличалась. У нее были короткие волосы, завитые как у барашка и сильно накрашенные щеки. Она обычно натирала лицо свеклой. «Для красы», – объясняла она. Зубов у нее тоже было маловато. На это было свое объяснение: «Мужики драться любят».

Но очевидная бойкость привлекала к ней поклонников, в том числе молодого милиционера. Грудной ребенок часто кричал, и вместо обычной колыбельной Шурка, так звали новую соседку, напевала: «Смерть тебя позабыла, окаянный».

Возможно, что смерть скоро вспомнила о несчастном ребенке, мы этого не узнали, так как Шурка исчезла из нашей жизни. Но память о ней осталась: она открыла нам новые области русского языка – мат.

* * *

Вскоре у нас появилась новая соседка, тоже Шура, – женщина средних лет, крепкая и очень ловкая в работе. Лицом Шура не вышла, тем более что один глаз у нее «был неправый», как она сама говорила, то есть – косой, и все время вращался. Волос на ее голове было маловато, но несмотря на то, что она была почти лысая, она ухитрилась сделать крошечный пучок на затылке.

Шура была чрезвычайно чистоплотная и отличная хозяйка. Свою комнату она называла голубым раем: в ней были голубые обои с красными розочками, голубые занавески и на столе расстелена голубая клеенка. К стенам были приклеены открытки, в основном изображавшие кошек с бантами или сцены их счастливой семейной жизни.

Уж не знаю как, но Шура сумела женить на себе некоего Григория, который работал экспедитором винного магазина «Арарат», а попросту – сопроводителем винных бутылок в поездках. И вот через месяц после свадьбы Шурочка впала в тоску. Я как-то зашла на кухню, а она сидит молча и смотрит в одну точку.

– Что случилось, Шура?

– Ой, Вера, все мы девушки, все мы женщины, у всех у нас есть пережитки, – этой присказкой соседка начинала все свои монологи. – Григорий теперь по мужской части ко мне не придирается. Удавлен трудом.

* * *

Когда мы только переехали к тете Любе, у нее была большая семья. Муж тети Любы Юрий Николаевич Висковский работал в разных ведомствах, министерствах и несколько раз арестовывался как бывший военный. В 1937 году он был окончательно арестован и приговорен к десяти годам без права переписки, что означало, как мы потом узнали, расстрел.

Потом арестовали и саму тетю Любу, и ее сына. За моим двоюродным братом пришли 31 декабря. В гостях у нас в это время находилась жена австрийского посла, русская женщина, которая дружила с мамой. Она часто заходила к нам, так как здание посольства Австрии находилось, да и сегодня находится, неподалеку от нашего дома. В честь праздника жена посла принесла нам печенье.

Как только чекисты вошли в нашу квартиру, они тут же перекрыли выход. Но на счастье, у нас был черный ход из кухни. Только я успела вывести женщину из дома, как на кухню ворвался молодой офицер. «Это что такое? Еще один выход?» – возмущенно закричал он, указывая на дверь. Я невозмутимо ответила, что да, так как дом наш – старой постройки и раньше на кухнях всегда был еще один вход.

Он тут же заблокировал и эту дверь. Но жена посла уже была на улице, и опасность миновала. Иначе нас бы всех арестовали – ведь Австрия в те годы считалась союзницей фашистской Германии.

* * *

О подписании «Пакта Молотова – Риббентропа» мы с мамой узнали при довольно забавных обстоятельствах. Последнее предвоенное лето мы проводили с ней за городом и никаких газет там не читали. Потому, приехав в Москву и увидев на всех улицах флаги со свастикой, а в газетах – речь Гитлера в Рейхстаге, мы решили, что столицу захватили фашисты. Потом уже нам объяснили, что теперь

Германия и Советский Союз – лучшие друзья.

Когда в семидесятых годах мой добрый приятель Толя Якобсон встретил на бульварах Вячеслава Молотова, к тому времени – уже почтенного пенсионера, то не выдержал и обратился к нему с вопросом: «Ну и как поживает твой друг Риббентроп?». На что Молотов ответил, что не расположен ни о чем разговаривать, и спешно пошел дальше...

* * *

В тридцатых-сороковых нашим соседом был сын Сталина Василий. Его особняк располагался аккурат за нашим домом. Я самого Василия не видела, Бог миловал. Да и желания не было. Но отзвуки его вечеринок мы слышали регулярно.

Почти каждую ночь из его дома доносился шум, вой, дикие крики. Спать было невозможно. Особенно летом часто устраивались оргии.

Он разгульным был человеком. У нас так и говорили: «Опять у Васьки шум»...

* * *

После лагеря я вернулась в свой дом на улице Фурманова. Под нами жили «жириновцы» – пили, орали, вывешивали по праздникам на окна флаги свои. Как-то просыпаюсь и вижу, что на моем подоконнике стоит человек. «Не бойтесь», – говорит. Я ответила, что и не собираюсь бояться, только не могу понять, что он делает возле моего окна.

«Праздник сегодня, – отвечает, – мы флаги вешаем. А вам потом споем что-нибудь». Нам, жильцам коммуналки, они страшно завидовали и поставили себе цель завладеть нашей квартирой. А поскольку просто выселить из нее не смогли, то купили нам с соседкой по отдельной квартире.

Так я и оказалась на Сивцевом Вражке.

* * *

После папиной смерти, как вдову лишенца, маму не брали ни на какую работу. Да и нашу семью не оставляли. Приходил какой-то якобы знакомый отца, который заводил с мамой провокационные разговоры. «Уж хоть бы погибла эта проклятая советская власть!», – говорил он. Но мама поняла, что это провокация, и подобные беседы не поддерживала.

В 30-м году был организован «Интурист», и маму взяли гидом. Тогда ведь мало было людей в Москве, кто свободно владел языками. Мама в совершенстве знала английский, французский и немецкий. Ее мать, изведавшая радости сапожной и переплетной мастерской, дала ей образование, понимая, что главное – именно это. С мамой жили гувернантки-иностранки, которые и учили ее.

А потом мама работала в институте заочного обучения. Заведовала этим заведением сестра Менжинского, который после смерти Дзержинского стал главным чекистом. Говорили, что по сравнению с Железным Феликсом Менжинский был довольно мягким человеком. А сестра его была дамой старинного покроя. Мама проработала там до самой смерти в 1945 году.

Ее родная сестра Люба, та самая, которая жила на улице Фурманова, на время уехала в Париж, но потом все равно вернулась в СССР.

Ее муж, Юрий Николаевич Висковский, работал в институте связи. В 1937 году его расстреляли, а тетю с сыном арестовали. В нашем доме вообще осталось только две квартиры, в которых никто не был арестован. С бабушкой в Париж уехали его дети – тетя Соня, тетя Вера, дядя Петя и дядя Коля. А мама с Любой жили тут.

Почему не уехали? Во-первых, не было особых капиталов, чтобы ехать. А потом, они не верили, что советская власть установилась надолго.

После смерти папы мама хотела уехать, но ее уже не выпустили. Все границы захлопнулись.

Она все понимала, но ничего не могла сделать...

* * *

А я была пионером. Мало того, грех великий, была этим увлечена. Вот что значит великая сила пропаганды! Песенки пела своеобразные: «Мы повесим Чемберлена на осиновый сучок, мы повесим Чемберлена бритой рожой на восток». Воспитательные такие песенки. Мама всегда спокойно к этому относилась. Какие-то вещи опровергала, но чаще говорила: «Ты сама смотри, как и что. Вырастешь и все поймешь». Например, когда мы в школе изучали «Старосветских помещиков» Гоголя, которых было принято считать гадами, мама говорила, что все совсем не так. Дедушка для меня был, конечно, хорошим и положительным человеком, а вот другие капиталисты – мучителями. И я радовалась, что благодаря революции народ наконец освободился от них. Подруга моя Сарочка Шапиро потом каялась, что это она меня увлекла всей этой коммунистической идеологией. Я, правда, всему очень верила, выписывала газету «Пионерская правда» и с удовольствием и интересом ее читала. В школе нас фактически ничему не учили. Тогда в ходу был бригадный метод: кто из учащихся в чем лучше разбирался, тот по тому предмету за весь класс и отвечал. А остальные в итоге так и оставались неучами. Большая власть была у учкома, который состоял из учеников и не только критиковал учителей, но и частенько отстранял их от работы за идеологические ошибки.

Сделал, допустим, кто-то из учителей замечание – его тут же выгоняли. Диктант, например, считался буржуазным пережитком. Только классе в восьмом – девятом за нас взялись и стали чему-то учить. Но, конечно, уже было поздно. Я училась в одной школе с Анатолием Рыбаковым, автором знаменитого романа «Дети Арбата». Мы ходили в седьмую школу в Кривоарбатском переулке, потом ее в Плотников переулок перевели.

Толя постарше меня, но учителя у нас с ним были одни и те же. В своей повести «Кортик» он описывает некоторых из них. Например, учителя черчения. Этот педагог довольно своеобразно разговаривал, постоянно вставляя в слова букву «в». Говорил нам с подругой: «Вты, Прохорова, и вты, Криворучко, – на отдельную парту». И давал нам чертить спичечную коробку на трех плоскостях, когда весь класс уже детали какие-то сложные чертил. А надо заметить, что я в точных науках патологически тупа. У меня с детства косенькие лапки не только в хозяйстве, но и в черчении.

Мы с подругой чертили, а потом он вызывал нас к доске. Укоризненно качал головой и говорил: «Невуд».

К счастью, мама к моим «невудам» спокойно относилась. Прозрение в том, что в стране творится неладное, пришло ко мне в 1937-м, когда стали хватать всех подряд. Сталину я не верила и не любила его. Но с началом Великой Отечественной во мне, как и во всех, проснулся патриотизм. Что бы сейчас ни говорили, но у нашего молодого поколения, несмотря на то, что родители многих были репрессированы, был патриотизм.

Все хотели на фронт. Мой знакомый, у которого расстреляли отца, в первый же день войны пошел на фронт и погиб в первом же бою.

* * *

День 16 октября 1941 года был в Москве днем страшной паники. Звучали разговоры об «арбатском направлении» фашистов – немцы были уже в Филях. Нашим мальчикам в райкоме партии прямо говорили: «Бегите!». Мы тут чего только не видели – все кипело вокруг, все бежали. Направление было одно – на Восток!

До сих пор перед глазами картинка – идет женщина, за собой волочет плачущего ребенка, буханка хлеба в авоське. Помойки все красные были от обложек выброшенных книг по истории партии и портретов вождей. В их адрес проклятия звучали: «Они нас бросили!». На улицах появились разбойные морды, которые начали грабить магазины. Подожгли фабрики «Красный Октябрь», «Ява». Наш директор института – а я уже училась в институте иностранных языков – украл последний сахар из буфета, сел в машину и с секретарем парткома бежал из столицы. Мне кажется, немцы не вошли в город только потому, что не могли поверить, что Москву никто не защищает. Потом уже стали говорить, будто фашистов здесь чуть ли не с пирогами ждали. Мол, родственники репрессированных в сталинских лагерях достали самую нарядную одежду и хлеб-соль готовили. Не думаю, что это было так.

Ребятам в райкоме прямо говорили – рвите комсомольские билеты, бегите из города. А мои однокурсники, наоборот, просто бросались на фронт! Когда стало известно, что состав с нашими ребятами на ночь задержали на Белорусском вокзале, мы помчались туда, бежали вдоль вагонов и выкрикивали их имена.

Мальчики отвечали нам: «Ничего не бойтесь, мы вас защитим!». Домой из них не вернулся никто...

Война стала для всех какой-то очищающей. Пастернак хорошо об этом в «Докторе Живаго» сказал: «Война была очистительной жертвой». Немцы же напали вероломно, жестоко вели себя. Все только об этом и думали.

Люди почувствовали черноту и ужас фашизма. 17 октября Москва замерла в зловещей тишине, страшно было из дома выйти. А на следующий день на стенах появились листовки: «Москва объявляется на осадном положении, вводится военно-полевой суд, всякому, кто будет замечен в мародерстве, – расстрел!». И был наведен порядок. Патрули появились. Только одна фамилия стояла под той листовкой, которую тогда никто не знал. Это была подпись Жукова. Мы знали Ворошилова, Буденного с его конем, а о Жукове слышали впервые...

* * *

Не забуду я и 9 мая 1945-го. Какое в день Победы было ликование! Но мудро сказал Рокоссовский: «Пережили войну, теперь надо пережить победу!». Увы, мы тогда этого не сознавали. Город был полон союзниками. Американское посольство находилось рядом с гостиницей «Националь», оттуда приносились напитки, закуска. Все ликовали, обнимались, целовались.

Иосиф Виссарионович правильно рассудил: надо показать, что началась дружба народов.

Девушки выходили замуж за иностранцев, некоторые даже гражданство принимали. Всех, конечно, потом арестовали...

* * *

Меня арестовали в августе 1950-го. Явился молодой человек в штатском и сказал, что мне предлагают работу в Совете министров (я тогда уже была преподавателем английского).

На троллейбусе мы отправились в Совет министров, однако приехали почему-то на Лубянку. По наивности я предупредила, что у меня нет пропуска. Но молодой человек успокоил: «Я вас проведу». Мы вошли.

В одном из кабинетов со мной действительно побеседовали о том, как лучше всего изучать английский язык. А потом предложили пройти «с дядей Васей». Который и проводил меня в камеру.

Я иногда задаю себе вопрос: почему аресты они оформляли в подобную форму? Меня вот вызвали преподавать язык, кого-то приглашали в сберкасса за денежным переводом, кого-то за премией. То есть люди шли в тюрьму, не зная, разумеется, конечной цели, с приподнятым настроением. Я до последнего момента не догадывалась, что арестована. А когда мне показали наконец ордер на арест, я решила для себя, что все, занавес опустился и жизнь закончилась. Понимала, что 10 лет мне дадут как минимум. И главным для меня было не назвать ни одного имени, чтобы от меня цепочка арестов не потянулась дальше.

Я-то им была не интересна, им были нужны Нейгауз, Рихтер, Фальк.

* * *

Прохорова действительно была осуждена на 10 лет по печально знаменитой «политической» 58-й статье. За то, что в одном из разговоров сказала, что ей «жалко людей».

* * *

Я, к сожалению, точно знаю, по чьим доносам была арестована. Их писал композитор Александр Локшин. Самое удивительное, что Светик предсказал мне это.

Поскольку меня арестовали в 1950-м, а не в 1937 году, то следствие велось с видимостью соблюдения всевозможных процедур. Например, было необходимо устроить очную ставку арестованного с тремя свидетелями, которые подтверждали содержащиеся в доносах обвинения. При этом сам человек, который писал донос, быть свидетелем не мог. Благодаря этому я и «вычислила»

Локшина. Потому что в доносах содержалась информация, которую я говорила ему наедине. Так, например, после одного из застолий, когда все уже вышли на улицу, Локшин неожиданно попросил меня задержаться. Подвел к портрету ближайшего сталинского соратника Георгия Маленкова, висящему в его кабинете, и сказал: «Это – самый большой негодяй-антисемит».

Я ответила, что среди наших правителей все – негодяи, достаточно просто взглянуть на их лица, и никакой разницы между ними нет. Этот разговор состоялся между нами наедине. Поэтому, когда следователь процитировал мне дословно этот диалог, я поняла, от кого исходит информация.

Правда, до последнего надеялась, что на меня донес друг Локшина Миша Мерович, которому тот мог просто из неосторожности передать наши разговоры.

Мерович был на меня озлоблен после того, как я выставила его из своего дома. Он пришел ко мне с каким-то пошлым анекдотом, и я попросила его больше у меня не появляться. Я таких анекдотов терпеть не могла. В итоге я попросила устроить мне очную ставку с тем, кому я говорила эти слова. Надеюсь увидеть Локшина, потому что в таком случае подозрения в том, что именно он – секретный сотрудник КГБ, отметились.

* * *

«Своих» кагэбэшники не «светили». Потому что иначе эти люди уже не могли больше работать на органы. Но первой на очную ставку пришла родная сестра Локшина.

– Итак, о чем с вами разговаривала Прохорова? – спросил у нее следователь.

– О члене правительства, она обсуждала его.

– Как обсуждала? Называла красивым?

– Нет, сказала, что он негодяй. И еще позволила себе высказаться об одной национальности.

– О какой национальности? – продолжал «наседать» на девушку чекист, при этом, как мне показалось, хитро поглядывая в мою сторону. – О неграх? Вы смотрите, а то мы вас за дачу ложных показаний привлечем!

– Нет, она говорила о евреях, – еле слышно произнесла девушка, окончательно сбита с толку строгим тоном следователя – уж не собирается ли он в самом деле и ее арестовать.

– А почему это вас так задело? Вы, что, еврейка?

– Нет, я русская.

– А вы? – тут следователь обратился ко мне. – Не еврейка, случаем?

– Нет, я русская, и все предки мои тоже русские – Прохоровы, Гучковы, Боткины.

– Чего же вы тогда про евреев говорите?

– Я не говорю и никогда не говорила. И уж тем более с этой девушкой. Устройте мне очную ставку с человеком, который вам все это написал.

Я до последнего дня надеялась, что предатель не Шурик. Но когда в один из дней увидела в кабинете следователя Меровича, то поняла уже окончательно, что сексот (секретный сотрудник) – это именно Локшин. Получается, КГБ прятало Локшина. А поскольку требовалось именно три свидетеля, то кроме матери и сестры композитора пришлось добавить еще и Меровича.

Он бледный сидел, что-то мямлил, но я с ним и не стала разговаривать, так как все уже поняла.

А следователи над ним издевались. Мне потом сам следователь сказал, что они свидетеля разыграли, будто собираются и его посадить. И он так в это поверил, что когда ему давали пропуск на выход с Лубянки, он не брал его, так как думал, что это ордер на арест.

Миша заявил, что разговор о Маленкове у меня состоялся именно с ним. Но я-то знала, что говорила об этом с Локшиным, и в комнате нас в тот момент было

всего двое. Локшин еще и на Есенина-Вольпина донес, сына поэта Сергея Есенина.

Но тот никогда не следил за тем, что говорил. Мог прямо посреди улицы спеть какую-нибудь антисоветскую частушку. Или, выйдя из столовой на улицу и почувствовав тошноту и нагнувшись в сторону куста, сказать: «Ну, теперь-то все советское дерьмо из меня вышло». Кстати, после того как нас освободили из лагеря, Вольпин несколько раз предлагал мне пойти «разоблачить Локшина».

Я отказалась. А он пошел. На один из вечеров в Союз композиторов, кажется. И когда там закончили обсуждение нового произведения Локшина и спросили у зала, есть ли у кого-нибудь дополнения, Вольпин поднялся и сказал: «У меня есть дополнение. Композитор Локшин меня посадил в лагерь».

* * *

Почему Локшин доносил? Это сложный вопрос. Думаю, что его просто запугали. Дело в том, что у него было вырезано

/

желудка и, как и все инвалиды, он очень хотел жить. Этим, наверное, и воспользовались в КГБ. Но их интересовала, конечно же, не я. Хотя мать и сестра Локшина написали в своих доносах, что я «как дочь капиталиста, ненавидела строй и пыталась вовлечь в свои дела их сына и брата». Мне даже жалко стало сестру Локшина. Потому что одно дело написать донос, а совсем другое дело – отвечать за него. Она сидела передо мной в кабинете следователя такая бледная, испуганная, жалкая, что я не стала ей ничего говорить. Только следователю сказала, что все из произнесенного и написанного девушкой – полная ложь. КГБ интересовали Рихтер, Фальк. Но я понимала, что ни при каких обстоятельствах нельзя упоминать их имена. Это вообще был закон того времени – ни в коем случае не называть имен. Я об этом и Локшину, не догадываясь о том, что он сексот, говорила. Меня же, как преподавателя института иностранных языков, не раз вызывали то в учебную часть, то в производственную и как бы между делом спрашивали об учениках. Я прекрасно понимала, что эти люди меньше всего интересуются успеваемостью моих

студентов. Но говорила только о ней.

– Нельзя называть имена, – предупреждала я Локшина. – Если ты что-то слышал у того же Фалька, то можешь в крайнем случае сказать, что был свидетелем того, как Фальк ругается с женой. И не больше того.

– Как же так? – переспрашивал Локшин. – Ты, что, станешь врать? И говорить, что ничего не слышала против власти, хотя на самом деле слышала?

– Врать этим сволочам? Конечно, стану! И еще как! Между прочим, об этих моих словах Локшин тоже донес. Я читала все это в бумагах, которые мне показывал следователь. Но вообще, Шурик был очень интересным человеком. С ним можно было говорить на любую тему. Поэтому мы и проводили вместе много времени.

* * *

А Рихтер уже тогда все понимал и чувствовал. Но я не обращала на его предостережения внимания. Как-то Локшин спросил меня, читала ли я рассказ Достоевского «Влас». Я ответила, что преклоняюсь перед Федором Михайловичем, но это не мой писатель и его рассказ я не читала.

Тогда он передал мне содержание этого, видимо запавшего ему в душу, произведения. В нем речь идет о крестьянине, которого внутренний голос убеждает выстрелить в чашу со святыми дарами. Тот поначалу не поддается на уговоры, но в конце концов не может совладать с собой, берет ружье и, придя в храм, стреляет в чашу. Поступок этот вызвал потом у Власа глубочайшее и искреннее раскаяние, побудившее его пойти пешком в Сибирь замаливать грехи. Но в тот момент, когда он нажал на курок и уничтожил святыню, крестьянин испытал чувство удивительного упоения. Передаю все в интерпретации Локшина. Я тот рассказ так и не прочитала. Секретарша Локшина потом говорила, что композитор не мог заниматься доношением, потому что гений и злодейство несовместимы. А я-то как раз считаю, что очень часто гений и злодейство идут рука об руку. Достаточно вспомнить Марло, который по своему дарованию мог соперничать с Шекспиром, а по человеческим качествам был ужасен. Или вспомним Франсуа Вийона. Да сколько угодно можно привести таких примеров. Талант – это же как цвет глаз или волос, он может быть дан любому человеку.

* * *

Был ли Локшин гением? Для меня его музыка чужда. Но есть и те, кто считает, что он был очень талантлив. Забавная деталь – когда меня посадили в лагерь, он приехал к нашим общим друзьям и привез им в подарок живого бурого кролика.

«Это в память Веры, – сказал он. – Она ведь так любила животных».

То есть Шурик был уверен, что я уже не вернусь и никто о его доносах не узнает.

* * *

Но вот незадача, я выжила и вернулась из лагеря. И так получилось, что однажды даже встретила с Локшиным. Дело было возле консерватории, где я встречала кого-то из своих подруг, чтобы пойти с ними к Светику. Выходим мы на Никитскую улицу, тогда она называлась улицей Герцена, и вдруг я вижу, что на противоположной стороне тротуара, там, куда я собиралась идти, стоит Локшин. И еще улыбается мне. До этого мы с Рихтером уже обсуждали, что делать, если я встречу с Локшиным.

«Пройди мимо него, словно он – пустое место», – сказал Светик.

Я так и сделала. Правда, не прошла, а пулей пробежала мимо него. Придя к Светику, рассказала, что со мной только что приключилось.

«Ну, правильно, – сказал Рихтер. – Он думал, что убил курицу, бросил в кастрюлю и сварил. А она неожиданно выжила и вылезла из кастрюли. Теперь он снова хочет с тобой дружить».

* * *

Я с Локшиным, конечно же, не общалась больше.

Но так получилось, что его сын учился у Толи Якобсона, мужа моей лагерной дочери Майки Улановской. Я ее, тоже арестованную, «удочерила» в лагере.

И когда мальчик заболел, Толя пошел к нему домой его проведать. Только переступя порог квартиры, Якобсон понял, где он оказался. Но мальчик же не был ни в чем виноват. И Толя пробыл у него столько, сколько было нужно. А потом кто-то сказал: «А, вы проводили разведку боем, отправив своего друга домой к Локшину?»»

Какая глупость!

Но и это не все. Один из журналистов, после того, как я рассказала о доносе Лакшина, написал обо мне: «Она строила планы мести, сидя на ледяных нарах».

Мы с Майкой Упановской были возмущены – какие ледяные нары? В лагере очень жарко топили...

Прошло время, этот сын вырос и стал писать письма и книги в защиту отца. Мол, тот не был ни в чем виноват, а, наоборот, еще и сам пострадал, так как его мать и сестру вызывали в КГБ. Но, увы, я точно знаю, что посадили меня именно «благодаря» доносам композитора Локшина....

* * *

Когда следователь во время допросов спрашивал, к кому я обращала слова о том, что «мне жалко людей», я ответила, что ни к кому конкретно, а просто так, «в пространство». И слава Богу, по моему делу никого не арестовали. Для меня лагерь стал своеобразным Зазеркальем. Потому что для себя я уже решила – все, жизнь закончилась.

Что меня ждало, даже если бы срок закончился и мне не добавили бы новый? Ничего. Уехать из Красноярского края, где я сидела, было нереально. Надо было бы все равно оставаться на той же лесопилке и каждый месяц ходить в контору и отмечаться. Какая же это жизнь?

* * *

Ко всему происходящему я относилась совершенно спокойно. Когда мне говорили, что я плохо работаю или неправильно, скажем, пилю дерево, я

соглашалась: «Да, это так, со мной коммунизм не построишь». И в конце концов к этому привыкли.

Меня не ставили на пилку дров, а посылали к конвоиру, для которого надо было поддерживать огонь в костре. Правда, и там не все было гладко – молодой парень выдал мне топор и приказал рубить дрова для костра. Я топор-то взяла, но только и успела, что вонзить его в дерево, а достать обратно уже не могла ни при каких условиях. Конвоир удивился даже, как я с таким неумением колоть дрова до 30 лет дожила. Я ответила, что совершенно спокойно дожила, тем более что колоть дрова мне не приходилось. Парень удивился еще больше – как же я тогда печь топила. А услышав, что у меня в доме не было печи, вообще пришел в изумление – неужели существуют такие дома, где нет печей, которые надо топить. В итоге он поднялся со своего места, подошел к бревну, в котором застрял мой топор, игруши достал его и принялся с легкостью колоть дрова.

Он так красиво работал, что я даже засмотрелась. Из-под его рук поленья вылетали, как аккуратно нарезанные куски торта... В конвоиры обычно брали совсем необразованных людей, приехавших из глубинки, которые понятия не имели о самых элементарных вещах.

Но удивительное дело, какими эти ребята оказывались порядочными людьми. В то время самая большая премия им полагалась за то, что они предотвращали побег. То есть попросту убивали заключенного, отошедшего на десять шагов от таблички с надписью «Запрет». За это солдату давали месяц отпуска, два оклада премии и серебряные часы. Казалось бы, большой соблазн для молодых ребят. Но за все то время, пока я находилась в заключении, нашелся только один конвоир, который застрелил заключенную.

Он нарочно отправил ее за ветками для костра за табличку «Запрет» и нажал на курок. Очень уж ему хотелось поехать в отпуск к жене. Об этом конвоире потом по цепочке передавали из лагеря в лагерь. Когда он вернулся из отпуска, его уже не посылали охранять заключенных на лесоповал, а посадили на вышку на территории лагеря. В один из дней ему показалось, что застреленная им женщина идет к нему по воздуху, он испугался и, выпав со своего места, разбился. Через пару дней в больнице он умер. А сколько раз я выходила на запрещенную территорию!

Конвоир кричал мне:

– Куда ты пошла? Ты что, не видишь, что написано на столбе?

Я отвечала:

– Почему не вижу? Вижу, «Запрет» написано. Чего ж не стреляешь? Стреляй!

Но он никогда не нажимал на курок. Почему я так отвечала? Вовсе не из-за того, что была такой уж смелой. Просто... для себя же я решила, что моя жизнь закончена, а все, что происходит теперь, уже не важно.

* * *

Вера Ивановна начала вспоминать о лагерной жизни и, кажется, совсем забыла обо мне. Она откинулась на спинку стула, ее глаза были закрыты, а на губах, когда она умолкала, появлялась... улыбка.

Когда она открывала глаза, то, казалось, делала это лишь для того, чтобы удостовериться, что из прошлого в любую минуту можно вернуться в настоящее. А вовсе не для того, чтобы убедиться в моем внимании. Я, конечно же, слушал ее, но Прохорова, думается, говорила не со мной. Или, вернее, не только со мной.

* * *

Среди осужденных иногда оказывались бывшие сотрудники госбезопасности. Они тщательно скрывали свое прошлое, иначе бы их разорвали. Ведь многие находились в лагере, отбывая повторные сроки после арестов в 1937 году. В кругу своих эти чекисты признавались, что до войны у них существовали разнарядки – сколько человек из каждого района надо арестовывать каждый месяц. Если план выполнялся, блюстители госбезопасности получали премии. Но случалось, человек, которого собирались арестовать, переезжал в другой район. И тогда чекисты, чтобы не делать план конкурирующему отделению, не сообщали коллегам о переезде врага народа. И тот оставался жив. Благодаря обычному обмену квартиры. Когда арестовали меня, все уже было более спокойно. Людям, по крайней мере, сохраняли жизнь.

А в 1937-м расстреливали только так, без справедливого суда и серьезного следствия. В те годы даже печальный анекдот родился. В десять вечера в дверь раздается стук. Хозяин с вещами идет открывать и через минуту радостный возвращается обратно: «Все прекрасно, это в нашем доме пожар».

* * *

В лагере, где я сидела, находились не только политические, но и рецидивисты-уголовники.

Для них попасть к нам считалось чем-то вроде развлечения. В своих-то лагерях они были уже не по одному разу, вокруг – одни знакомые лица, и, когда им все надоедало, они проделывали простой трюк. Рисовали на куске бумаги лицо с усами, подписывали рисунок именем Сталина и матерным словом, накальвали на черенок от лопаты и шли с ним по лагерю. Их тут же хватили, осуждали по политической статье и переводили к нам. Поскольку эти рецидивисты в отличие от нас, идеологических врагов, считались «социально близкими», их назначали либо бригадирами, либо в медсанчасть, либо на кухню. В общем, давали самые хлебные места, поэтому они всячески стремились попасть в наш лагерь...

* * *

Как-то в нашем бараке очутились две сестры, оказавшиеся близкими подругами Полины Жемчужиной, жены Молотова. Очень красивые были женщины, с лицами еврейских пророчиц. Они, разумеется, были уверены, что их арест – это ошибка и вот-вот Полина поможет им освободиться. Не знали, бедные, что и сама жена ближайшего соратника Сталина находится за решеткой. Старшая сестра держалась особняком, а младшая, наоборот, всячески пыталась завоевать доверие у блатных – ругалась матом, старательно бросалась выполнять любую работу.

Но, разумеется, «своей» ее все равно никто не считал. Наоборот, блатных она раздражала своими настойчивыми попытками войти в круг приближенных.

В конце концов эта бедная женщина надорвалась, заболела раком, и ее отправили в тюремную больницу. Старшая сестра стала просить свидания, упоминая о своих заслугах перед революцией, вспомнив близкое знакомство не

только с Жемчужиной, но и чуть ли не с Лениным. Но внимания на нее, конечно же, не обращали. В один из дней из больнички вернулся этап выздоровевших заключенных, и кто-то из них передал ей, что сестра умерла.

Что тогда стало с этой женщиной!

Она вышла на середину лагерного двора, сорвала с себя платок, под которым оказались роскошные, длинные, черные как смоль волосы, запрокинула к небу свое гордое красивое точеное лицо и закричала: «Будьте вы прокляты! Зло всегда возвращается ко злу! Я всегда понимала, какая несправедливость творится вокруг, когда арестовывали лучших людей, но делала вид, что ничего не происходит, и аплодировала палачам. И вот мне возмездие! Я заслужила эту кару! Но вы – будьте прокляты!». Как она кричала, какие слова произносила!

Все заключенные разбежались по своим баракам, и только я осталась стоять во дворе. Такое у меня свойство характера – я антипаникер. Когда происходит что-то страшное и все приходят в движение, я становлюсь излишне спокойной и не двигаюсь с места.

Больше полувека прошло, а у меня до сих пор перед глазами лагерный двор и произносящая проклятия та красавица-еврейка...

* * *

В лагере легенды ходили о знаменитой певице Лидии Руслановой, жене генерала Крюкова, одного из самых доверенных людей маршала Жукова. Разумеется, ее арестовали не за вагоны музейных ценностей, привезенных в качестве трофеев ее мужем из Германии, о чем тогда много говорили.

Через легендарную исполнительницу русских народных песен хотели найти компромат на Жукова. Но ничего не вышло.

Я саму Русланову не застала, но много слышала о том, как достойно она себя вела.

* * *

А со мной в одном бараке сидела жена бывшего советского консула в США. Вся его семья была репрессирована за то, что преподавательница русского языка, работавшая в советском посольстве, сбежала, решив остаться в Америке.

Убежище ей предоставила дочь Льва Толстого Александра, у которой под Нью-Йорком был пансион для русских эмигрантов. Когда о месте нахождения этой учительницы, Косьменкова ее фамилия, я запомнила, узнали в посольстве, женщину выкрали и посадили под арест в комнате на верхнем этаже консульства. Отчаявшись вырваться на свободу, она открыла окно и выпрыгнула из него. Осталась жива, только ногу сломала. И принялась истошно кричать. Ее крики услышали американцы, подобрали и увезли. Потом в наших газетах писали, что Косьменкову выкрали империалисты. Советского консула после этого вызвали в Москву, якобы на повышение. А когда он приехал, арестовали и расстреляли.

Его жену тоже обманом вызвали на Лубянку, на сей раз под предлогом того, чтобы она помогла разобраться с письмами. Здесь ее арестовали и дали десять лет лагерей...

* * *

Но мне заключение прежде всего запомнилось удивительной красотой сибирской природы. Казалось, что весь горизонт участвует в великолепном действе – деревья и облака создавали волшебный пейзаж. И каким бы ни был отпетым заключенный, он все равно выходил на улицу и замороженно наблюдал то за облаками, которые принимали самые причудливые формы, то за лучами солнца, всеми цветами радуги окрашивающими горизонт. Мы не думали о том, когда нас освободят. Просто жили, и все. Да и что ждало после освобождения? Та же Сибирь. Только без работы, потому что устроиться бывшему политическому было практически невозможно.

Даже говорили, что в лагере еще и лучше: утром давали какую-то баланду, на обед – черпак каши, а на ужин – рыбную похлебку.

Ничего, жить можно было...

* * *

Конечно, я рассказывала в лагере о своей семье. Почему же нет? Я была единственной русской в камере, тогда пятый пункт много значил. Только за него, кажется, могли схватить. Со мной потом сидела бывшая кагэбистка. Мелкая сошка какая-то. Она попала в лагерь потому, что не успела донести на подругу, с которой вместе смеялась над политическим анекдотом. А та не поленилась – побежала и донесла. Суда как такового у меня не было. Слава богу, этих рож я не видела.

24 декабря было заседание Особого совещания, фактически распоряжавшегося судьбами арестованных, а 5 января мне зачитали приговор. За «разговоры» дали 10 лет. У нас в институте работала молодая полька. Так ее посадили только за то, что на каком-то дне рождения она посмела произнести фразу: «Когда Сталин умер». На нее тут же донесли, что она посмела сказать «умер». Сталин же считался бессмертным.

Ей дали чуть ли не 20 лет за «террористические намерения». Из-за того, что только «намерения» были, ей «повезло» – маленький срок дали. А ведь могли и расстрелять... У Оруэлла в «1984» все это потрясающе точно описано. Я потом спрашивала у англичан, откуда писатель имел такое чутье к происходящему у нас, он же никогда не был в Советском Союзе. Наверное, Оруэлл сумел все прочувствовать на гражданской войне в Испании, где сражались и наши.

Он удивительно точно описал, как родители могут бояться своих детей. У нас ведь всюду стояли памятники Павлику Морозову, который донес на отца за то, что тот не выдал хлеб государству, а хотел скормить Павлику. Того, правда, тоже прикончили. Но он считался героем.

* * *

Своих детей у Веры Ивановны нет. А в лагере появились.

Там она воспитывала «лагерную дочь», как она называет Майю Улановскую (ее имя уже звучало на этих страницах), дочь главы советской резидентуры в США, попавшую в лагерь в 1951 году.

* * *

Тогда ведь и дети могли попасть за решетку. Майке было 17 лет. Ее вместе с другими ребятами, организовавшими «Союз борьбы за дело революции», арестовали за то, что они собирались, читали Плеханова, Маркса и хотели что-то исправить. Их всех схватили, изобразив как контрреволюционную группу, нацеленную на свержение строя.

Детей судил военный трибунал. Девочкам дали по 25 лет, а мальчиков расстреляли. Даже для того времени приговор был суровый. При том, что следствие велось довольно мягко.

«Что же вы к нам не пришли, – говорили им следователи. – Мы тоже хотим изменений». Поэтому смертный приговор был как гром среди ясного неба. Какая омерзительно подлая игра с детьми, которая так страшно кончилась! В лагере я была Майке за мать – следила за тем, как она себя ведет, как могла оберегала ее.

И все меня как ее мать и воспринимали. Приходили ко мне, например, украинки и жаловались: «Наш Маевщик выругался матом».

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/igor-obolenskiy/pasternak-nagibin-ih-drug-rihter-i-drugie-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)